

СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕБОЛЬШОГО ОБЪЕМА ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В 2021-2022 УЧ.Г.

(составитель – А.В. Чеснокова, доцент кафедры филологического образования
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края)
<https://disk.yandex.ru/d/wR6SnapVYk8ZFQ>

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека

№	Произведение	Автор	Ссылка / текст
1.	Стихотворение «Телега жизни»	Александр Сергеевич Пушкин	Хоть тяжело подчас в ней бремя, Телега на ходу легка; Ямщик лихой, седое время, Везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу; Мы рады голову сломать И, презирая лень и негу, Кричим: пошел! ...! Но в полдень нет уж той отваги; Порастрясло нас; нам страшней И косогоры и овраги; Кричим: полегче, дуралей! Катит по-прежнему телега; Под вечер мы привыкли к ней И, дремля, едем до ночлега — А время гонит лошадей. (1823)
2.	Стихотворение «Зимняя дорога»	Александр Сергеевич Пушкин	Сквозь волнистые туманы Пробирается луна, На печальные поляны Льет печально свет она.

			<p>По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный Утомительно гремит.</p> <p>Что-то слышится родное В долгих песнях ямщика: То разгулье удалое, То сердечная тоска...</p> <p>Ни огня, ни черной хаты, Глушь и снег... Навстречу мне Только версты полосаты Попадают одне...</p> <p>Скучно, грустно... Завтра, Нина, Завтра к милой возвратясь, Я забудусь у камина, Загляжусь не наглядясь.</p> <p>Звучно стрелка часовая Мерный круг свой совершит, И, докучных удаляя, Полночь нас не разлучит.</p> <p>Грустно, Нина: путь мой скучен, Дремля смолкнул мой ямщик, Колокольчик однозвучен, Отуманен лунный лик. (1826)</p>
3.	Стихотворение «Бесы»	Александр Сергеевич Пушкин	<p>Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег летучий; Мутно небо, ночь мутна.</p>

			<p>Еду, еду в чистом поле; Колокольчик дин-дин-дин... Страшно, страшно поневоле Средь неведомых равнин!</p> <p>«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи: Коням, барин, тяжело; Вьюга мне слипает очи; Все дороги занесло; Хоть убей, следа не видно; Сбились мы. Что делать нам! В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторонам.</p> <p>Посмотри: вон, вон играет, Дует, плюет на меня; Вон — теперь в овраг толкает Одичалого коня; Там верстою небывалой Он торчал передо мной; Там сверкнул он искрой малой И пропал во тьме пустой».</p> <p>Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег летучий; Мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет кружиться доле; Колокольчик вдруг умолк; Кони стали... «Что там в поле?» — «Кто их знает? пень иль волк?»</p> <p>Вьюга злится, вьюга плачет;</p>
--	--	--	--

			<p>Кони чуткие храпят; Вот уж он далече скачет; Лишь глаза во мгле горят; Кони снова понеслися; Колокольчик дин-дин-дин... Вижу: духи собралися Средь белеющих равнин.</p> <p>Бесконечны, безобразны, В мутной месяца игре Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре... Сколько их! куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят, Ведьму ль замуж выдают?</p> <p>Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег летучий; Мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем В беспредельной вышине, Визгом жалобным и воем Надрывая сердце мне... (1830)</p>
4.	Романс «Выхожу один я на дорогу»	Михаил Юрьевич Лермонтов	<p>Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, И звезда с звездою говорит.</p> <p>В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сияньи голубом... Что же мне так больно и так трудно?</p>

			<p>Жду ль чего? жалею ли о чём?</p> <p>Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть; Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть!</p> <p>Но не тем холодным сном могилы... Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной чтоб вечно зеленея Тёмный дуб склонялся и шумел. (1841)</p>
5.	Стихотворение «Тучи»	Михаил Юрьевич Лермонтов	<p>Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную.</p> <p>Кто же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая?</p> <p>Нет, вам наскучили нивы бесплодные... Чужды вам страсти и чужды страдания; Вечно холодные, вечно свободные, Нет у вас родины, нет вам изгнания.</p>
6.	Стихотворение «Парус»	Михаил Юрьевич Лермонтов	<p>Белеет парус одинокой В тумане моря голубом!.. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?..</p>

			<p>Играют волны — ветер свищет, И мачта гнется и скрипит... Увы! Он счастья не ищет И не от счастья бежит!</p> <p>Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой... А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой! (1832)</p>
7.	Авторская песня «Кони привередливые»	Владимир Семёнович Высоцкий	<p>Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю... Что-то воздуху мне мало — ветер пью, туман глотаю... Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!</p> <p>Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! Вы тугую не слушайте плеть! Но что-то кони мне попались привередливые — И дожить не успел, мне допеть не успеть.</p> <p>Я коней напою, я куплет допою, — Хоть мгновенье ещё постою на краю...</p> <p>Сгину я — меня пушинкой ураган сметёт с ладони, И в санях меня галопом повлекут по снегу утром... Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони, Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту!</p> <p>Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! Не указчики вам кнут и плеть! Но что-то кони мне попались привередливые — И дожить не успел, мне допеть не успеть.</p> <p>Я коней напою, я куплет допою, —</p>

			<p>Хоть мгновенье ещё постою на краю...</p> <p>Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами?! Или это колокольчик весь зашёлся от рыданий, Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?!</p> <p>Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! Умоляю вас вскачь не лететь! Но что-то кони мне попались привередливые... Коль дожить не успел, так хотя бы — допеть!</p> <p>Я коней напою, я куплет допою, — Хоть мгновенье ещё постою на краю... (1972)</p>
8.	Романс «Утро туманное, утро седое...» («В дороге»)	Иван Сергеевич Тургенев	<p>Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, снегом покрытые, Нехотя вспомнишь и время былое, Вспомнишь и лица, давно позабытые.</p> <p>Вспомнишь обильные страстные речи, Взгляды, так жадно, так робко ловимые, Первые встречи, последние встречи, Тихого голоса звуки любимые.</p> <p>Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, Многое вспомнишь родное далекое, Слушая ропот колес непрерывный, Глядя задумчиво в небо широкое. (1843)</p>
9.	Стихотворение «Россия»	Александр Александрович Блок	<p>Опять, как в годы золотые, Три стертых треплются шлеи, И вязнут спицы расписные</p>

			<p>В расхлябанные колеи...</p> <p>Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые, - Как слезы первые любви!</p> <p>Тебя жалеть я не умею И крест свой бережно несу... Какому хочешь чародею Отдай разбойную красу!</p> <p>Пускай заманит и обманет, - Не пропадешь, не сгинешь ты, И лишь забота затуманит Твои прекрасные черты...</p> <p>Ну что ж? Одной заботой боле — Одной слезой река шумней А ты все та же — лес, да поле, Да плат узорный до бровей...</p> <p>И невозможное возможно, Дорога долгая легка, Когда блеснет в дали дорожной Мгновенный взор из-под платка, Когда звенит тоской острожной Глухая песня ямщика!.. (1908)</p>
10.	Поэма «Мертвые души» - лирическое отступление "Эх, тройка! птица"	Николай Васильевич Гоголь	(отрывок из 11-ой части поэмы "Мертвые души") "... Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарядит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и

	тройка..."		собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход – и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства..."
11.	Рассказ «Забуксовал»	Василий Макарович Шукшин	См. Приложение с.27
12.	Рассказ «Чудик»	Василий Макарович Шукшин	См. Приложение с.31
13.	Рассказ «Заброшенная дорога»	Юрий Маркович Нагибин	https://mir-knig.com/read_371168-1
14.	«Песня о Соколе»	Максим Горький	См. Приложение с.41
15.	«Песня о Буревестнике»	Максим Горький	Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат

			<p>радость в смелом крике птицы.</p> <p>В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.</p> <p>Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.</p> <p>И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни: гром ударов их пугает.</p> <p>Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!</p> <p>Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.</p> <p>Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятые крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.</p> <p>Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.</p> <p>Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!</p> <p>В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!</p> <p>Ветер воет... Гром грохочет...</p> <p>Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих</p>
--	--	--	--

			<p>молний!</p> <p>— Буря! Скоро грянет буря!</p> <p>Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревушим гневно морем; то кричит пророк победы:</p> <p>— Пусть сильнее грянет буря!..</p>
16.	Рассказ «Старуха Изергиль»	Максим Горький	СМ. Приложение с.44
17.	Рассказ «Эвелин»	Джеймс Джойс	См. Приложение с.57
18.	Рассказ «Дары волхвов»	О'Генри	См. Приложение с.60
19.	Авторская песня «Перекрёсток семи дорог»	Андрей Макаревич	<p>Если сто раз с утра все не так. Если пришла пора сделать шаг. Если ты одинок, Значит, настал твой срок И ждёт за углом Перекрёсток семи дорог. Там не найти людей, Там нет машин Есть только семь путей, И ты один. И как повернуть туда, Где светит твоя звезда, Ты выбираешь раз и навсегда.</p> <p>Перекрёсток семи дорог, Вот и я. Перекрёсток семи дорог - Жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою,</p>

			<p>Но в каком бы не шёл строю, Всё мне кажется, Я, как и прежде, на нём стою.</p> <p>Сколько минуло лет, Сколько дней. Я прошагал весь свет, Проплыл сто морей. И всё вроде, как всегда, Вот только одна беда, Всё мне кажется, Я на нём свернул в никуда.</p> <p>Перекрёсток семи дорог, Вот и я. Перекрёсток семи дорог - Жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, Но в каком бы не пел краю, Всё мне кажется, Я, как и прежде, на нём стою.</p> <p>Перекрёсток семи дорог, Вот и я. Перекрёсток семи дорог - Жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, Но в каком бы не шёл строю, Всё мне кажется, Я, как и прежде, на нём стою.</p>
20.	Рассказ «Любовь к жизни»	Джек Лондон	https://mir-knig.com/read_328421-1

21.	Рассказ «Моя «Она»	Антон Павлович Чехов	Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь; я тоже не выказываю поползновения удрать от нее, — связь, стало быть, крепкая, прочная... Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя «она», не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой... Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокетка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом... По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Всё, всё пожирает она, ненасытная! Я ненавижу ее, презираю... Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре тысячи... Детей у нас пока нет... Хотите знать ее имя? Извольте... Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли... Ее зовут — Лень.
22.	Стихотворение «Заблудившийся трамвай»	Николай Степанович Гумилев	См. Приложение с.165
23.	Сказка «Премудрый пискарь»	Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин	См. Приложение с. 38
	Русская народная сказка	«Сказка о молодильных яблоках и живой воде»	https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-skazki/#i-42

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?

№	Произведение	Автор	Ссылка
1.	Повесть	Валентин	https://azbyka.ru/fiction/proshhanie-s-matyoroj/

	«Прощание с Матёрой»	Григорьевич Распутин	
2.	Стихотворение «Адище города»	Владимир Владимирович Маяковский	<p>Адище города окна разбили на крохотные, сосущие светом адки. Рыжие дьяволы, вздымались автомобили, над самым ухом взрывая гудки.</p> <p>А там, под вывеской, где сельди из Керчи — сбитый старикашка шарил очки и заплакал, когда в вечеряющем смерче трамвай с разбега взметнул зрочки.</p> <p>В дырах небоскребов, где горела руда и железо поездов громоздило лаз — крикнул аэроплан и упал туда, где у раненого солнца вытекал глаз</p> <p>И тогда уже — скомкав фонарей одеяла — ночь излюбилась, похабна и пьяна, а за солнцами улиц где-то ковыляла никому не нужная, дряблая луна. (1913)</p>
3.	Стихотворение «Анчар»	Александр Сергеевич Пушкин	<p>В пустыне чахлой и скупой, На почве, зноем раскаленной, Анчар, как грозный часовой, Стоит — один во всей вселенной.</p> <p>Природа жаждущих степей Его в день гнева породила, И зелень мертвую ветвей И корни ядом напоила.</p> <p>Яд каплет сквозь его кору,</p>

			<p>К полудню растопясь от зною, И застывает ввечеру Густой прозрачною смолою.</p> <p>К нему и птица не летит, И тигр нейдет: лишь вихорь черный На древо смерти набежит — И мчится прочь, уже тлетворный.</p> <p>И если туча оросит, Блуждая, лист его дремучий, С его ветвей, уж ядовит, Стекает дождь в песок горячий.</p> <p>Но человека человек Послал к анчару властным взглядом, И тот послушно в путь потек И к утру возвратился с ядом.</p> <p>Принес он смертную смолу Да ветвь с увядшими листьями, И пот по бледному челу Струился хладными ручьями;</p> <p>Принес — и ослабел и лег Под сводом шалаша на лыки, И умер бедный раб у ног Непобедимого владыки.</p> <p>А царь тем ядом напитал Свои послушливые стрелы И с ними гибель разослал К соседям в чуждые пределы.</p>
4.	Стихотворение «Атомная сказка»	Юрий Поликарпович Кузнецов	Эту сказку счастливую слышал Я уже на теперешний лад, Как Иванушка во поле вышел

			<p>И стрелу запустил наугад.</p> <p>Он пошёл в направленье полёта По серебристому следу судьбы. И попал он к лягушке в болото, За три моря от отчей избы.</p> <p>- Пригодится на правое дело! - Положил он лягушку в платок. Вскрыл ей белое царское тело И пустил электрический ток.</p> <p>В долгих муках она умирала, В каждой жилке стучали века. И улыбка познания играла На счастливом лице дурака. (1968)</p>
5.	Рассказ «Свеча горела»	Майк Гелприн	См. Приложение с.73
6.	Авторская песня «Звезда по имени Солнце»	Виктор Цой	<p>Белый снег, серый лед На растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на ней - Город в дорожной петле. А над городом плывут облака, Закрывая небесный свет. А над городом - желтый дым, Городу две тысячи лет, Прожитых под светом Звезды По имени Солнце...</p> <p>И две тысячи лет - война, Война без особых причин. Война - дело молодых,</p>

			<p>Лекарство против морщин. Красная, красная кровь - Через час уже просто земля, Через два на ней цветы и трава, Через три она снова жива И согрета лучами Звезды По имени Солнце...</p> <p>И мы знаем, что так было всегда, Что судьбою больше любим, Кто живет по законам другим И кому умирать молодым. Он не помнит слово "да" и слово "нет", Он не помнит ни чинов, ни имен. И способен дотянуться до звезд, Не считая, что это сон, И упасть, опаленным Звездой По имени Солнце...</p>
7.	Рассказ «Похищенная бацилла»	Герберт Уэллс	См. Приложение с.78
8.	Рассказ «Оно»	Умберто Эко	См. Приложение с.83
9.	Рассказ «Стальное горло»	Михаил Булгаков	См. Приложение с.195
10.	Рассказ «Тьма египетская»	Михаил Булгаков	См. Приложение с.202

3.Преступление и наказание — вечная тема

№	Произведение	Автор	Ссылка
1.	Поэма «Песня про	Михаил Юрьевич	См. Приложение с.88

	купца Калашникова»	Лермонтов	
2.	Рассказ «Челкаш»	Максим Горький	См. Приложение с.104
3.	Рассказ «Старуха Изергиль» (легенда о Ларре)	Максим Горький	См. Приложение с.44
4.	Рассказ «Родинка»	Михаил Александрович Шолохов	См. Приложение с.126
5.	Рассказ «Он убил мою собаку»	Юрий Яковлев	См. приложение с.132
6.	Трагедия «Моцарт и Сальери»	Александр Сергеевич Пушкин	См. Приложение с.137
7.	Драма «На дне» (притча Луки о двух ворах, беглых каторжниках)	Максим Горький	<p>Лука. Поди-ка, вот... приласкай! Человека приласкать – никогда не вредно...</p> <p>Наташа. Добрый ты, дедушка... Отчего ты – такой добрый?</p> <p>Лука. Добрый, говоришь? Ну... и ладно, коли так... да! За красной стеной тихо звучит гармоника и песня. Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть... жалеть людей надо! Христос-от всех жалел и нам так велел... Я те скажу – вовремя человека пожалеть... хорошо бывает! Вот, примерно, служил я сторожем на даче... у инженера одного под Томском-городом... Ну, ладно! В лесу дача стояла, место – глухое... а зима была, и – один я, на даче-то... Славно-хорошо! Только раз – слышу – лезут!</p> <p>Наташа. Воры?</p> <p>Лука. Они. Лезут, значит, да!.. Взял я ружьишко, вышел... Гляжу – двое... открывают окно – и так занялись делом, что меня и не видят. Я им кричу: ах вы!.. пошли прочь!.. А они, значит, на меня с топором... Я их упреждаю – отстаньте, мол! А то сейчас – стрелю!.. Да ружьишко-то то на одного, то на другого и навожу. Они – на коленки</p>

			<p>пали: дескать, – пусти! Ну, а я уж того... осердился... за топор-то, знаешь! Говорю – я вас, лешие, прогонял, не шли... а теперь, говорю, ломай ветки один который-нибудь! Наломали они. Теперь, приказываю, один – ложись, а другой – пори его! Так они, по моему приказу, и выпороли дружка дружку. А как выпоролись они... и говорят мне – дедушка, говорят, дай хлеба Христа ради! Идем, говорят, не жрамши. Вот те и воры, милая (смеется)... вот те и с топором! Да... Хорошие мужики оба... Я говорю им: вы бы, лешие, прямо бы хлеба просили. А они – надоело, говорят... просишь-просишь, а никто не дает... обидно!.. Так они у меня всю зиму и жили. Один, – Степаном звать, – возьмет, бывало, ружьишко и закатится в лес. А другой – Яков был, все хворал, кашлял все... Втроем, значит, мы дачу-то и стерегли. Пришла весна – прощай, говорят, дедушка! И ушли... В Россию побрели...</p> <p>Наташа. Они – беглые? Каторжане?</p> <p>Лука. Действительно – так, – беглые... с поселенья ушли... Хорошие мужики!.. Не пожалей я их – они бы, может, убили меня... али еще что... А потом – суд, да тюрьма, да Сибирь... что толку? Тюрьма – добру не научит, и Сибирь не научит... а человек – научит... да! Человек – может добру научить... очень просто!</p>
8.	Рассказ «Крест»	Вячеслав Дёгтев	https://www.xn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai/index.php/knizhnaya-polka/422-v-degtev-krest
9.	Рассказ «Не пускайте рыжую на озеро»	Елена Габова	См. Приложение с.148
10.	Рассказ «Телеграмма»	Константин Георгиевич Паустовский	https://azbyka.ru/fiction/telegramma-paustovskij/
11.	Рассказ «Юшка»	Андрей Андреевич Платонов	См. Приложение с.160
12.	Рассказ «Конец сказки»	Джек Лондон	https://libking.ru/books/sci-/sci-history/33840-dzhek-london-konets-skazki.html#book
13.	«Кнопка, кнопка»	Ричард Матесон	См. Приложение с.67

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня

№	Произведение	Автор	Ссылка
1.	Авторская песня «Группа крови»	Виктор Цой	<p>Теплое место, но улицы ждут Отпечатков наших ног. Звездная пыль - на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, Не нажатый вовремя курок. Солнечный день - в ослепительных снах.</p> <p>Группа крови - на рукаве, Мой порядковый номер - на рукаве, Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне: Не остаться в этой траве, Не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи!</p> <p>И есть чем платить, но я не хочу Победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, Просто остаться с тобой, Но высокая в небе звезда зовет меня в путь.</p> <p>Группа крови - на рукаве, Мой порядковый номер - на рукаве, Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне: Не остаться в этой траве, Не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи!</p>

2.	Романс «Не жалею, не зову, не плачу...»	Сергей Александрович Есенин	<p>Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше молодым.</p> <p>Ты теперь не так уж будешь биться, Сердце, тронутое холодком, И страна березового ситца Не заманит шляться босиком.</p> <p>Дух бродяжий! ты все реже, реже Расшевеливаешь пламень уст О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодье чувств!</p> <p>Я теперь скупее стал в желаньях, Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне.</p> <p>Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с кленов листьев медь... Будь же ты вовек благословенно, Что пришло процветать и умереть.</p>
3.	Романс «Отговорила роща золотая...»	Сергей Александрович Есенин	<p>Отговорила роща золотая Березовым, веселым языком, И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком.</p> <p>Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник — Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.</p>

			<p>О всех ушедших грезит конопляник С широким месяцем над голубым прудом.</p> <p>Стою один среди равнины голой, А журавлей относит ветер в даль, Я полон дум о юности веселой, Но ничего в прошедшем мне не жаль.</p> <p>Не жаль мне лет, растроченных напрасно, Не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, Но никого не может он согреть.</p> <p>Не обгорят рябиновые кисти, От желтизны не пропадет трава, Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова.</p> <p>И если время, ветром разметая, Сгребет их все в один ненужный ком... Скажите так... что роща золотая Отговорила милым языком.</p>
4.	Романс «Выхожу один я на дорогу»	Михаил Юрьевич Лермонтов	См. направление 1
5.	Романс «Утро туманное, утро седое...» («В дороге»)	Иван Сергеевич Тургенев	См. направление 1
6.	Бардовская песня «Кони привередливые»	Владимир Семенович Высоцкий	См. направление 1

7.	Авторская песня «Перекрёсток семи дорог»	Андрей Макаревич	См. направление 1
8.	Рассказ «Тапер»	Александр Иванович Куприн	https://skazki.rustih.ru/aleksandr-kuprin-taper/
9.	Рассказ «Корзина с еловыми шишками»	Константин Георгиевич Паустовский	См. Приложение с.167

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина

№	Произведение	Автор	Ссылка
1.	Повесть «Шинель»	Николай Васильевич Гоголь	https://librebook.me/shinel/vol1/1
2.	Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»	Михаил Евгеньевич Салтыков-Щедрин	См. Приложение с.173
3.	Сказка «Дикий помещик»	Михаил Евгеньевич Салтыков-Щедрин	См. Приложение с.179
4.	Рассказ «Забуксовал»	Василий Макарович Шукшин	См. направление 1
5.	Рассказ «Смерть чиновника»	Антон Павлович Чехов	См. Приложение с.184
6.	Стихотворение «Анчар»	Александр Сергеевич	См. направление 2

		Пушкин	
7.	Стихотворение «Размышления у парадного подъезда»	Николай Алексеевич Некрасов	См. Приложение с.191
8.	Стихотворение «Школьник»	Николай Алексеевич Некрасов	<p>— Ну, пошел же, ради бога! Небо, ельник и песок — Невеселая дорога... Эй! садись ко мне, дружок! Ноги босы, грязно тело, И едва прикрыта грудь... Не стыдися! что за дело? Это многих славный путь. Вижу я в котомке книжку. Так учиться ты идёшь... Знаю: батька на сынишку Издержал последний грош. Знаю: старая дьячиха Отдала четвертачок, Что проезжая купчиха Подарила на чаек. Или, может, ты дворовый Из отпущенных?.. Ну, что ж! Случай тоже уж не новый — Не робей, не пропадёшь! Скоро сам узнаешь в школе, Как архангельский мужик По своей и божьей воле Стал разумен и велик. Не без добрых душ на свете —</p>

			<p>Кто-нибудь свезет в Москву, Будешь в университете — Сон свершится наяву!</p> <p>Там уж поприще широко: Знай работай да не трусь... Вот за что тебя глубоко Я люблю, родная Русь!</p> <p>Не бездарна та природа, Не погиб еще тот край, Что выводит из народа Столько славных то и знай, — Столько добрых, благородных, Сильных любящей душой, Посреди тупых, холодных И напыщенных собой! (1856)</p>
9.	Стихотворение «Железная дорога»	Николай Алексеевич Некрасов	См. Приложение с.186
10.	Стихотворение «Россия»	Александр Александрович Блок	См. направление 1
11.	Стихотворение «Вам!»	Владимир Владимирович Маяковский	<p>Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет! Как вам не стыдно о представленных к Георгию вычитывать из столбцов газет?!</p> <p>Знаете ли вы, бездарные, многие, думающие нажраться лучше как, — может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика?..</p> <p>Если б он, приведенный на убой,</p>

			<p>вдруг увидел, израненный, как вы измазанной в котлете губой похотливо напеваете Северянина!</p> <p>Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду?! Я лучше в баре бл***м буду подавать ананасную воду! (1915)</p>
12.	Стихотворение «Я работал долго на заводах Форда...»	Виктор Цой	<p>***</p> <p>Я работал долго на заводах Форда, А потом решил - в работе смысла нет. Я пойду ограблю старенького лорда, И куплю себе хороший пистолет.</p>

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН. РАССКАЗ «ЗАБУКСОВАЛ»

Совхозный механик Роман Звягин любил после работы полежать на самодельном диване, послушать, как сын Валерка учит уроки. Роман заставлял сына учить вслух, даже задачки Валерка решал вслух.

— Давай, давай, раскачивай барабанные перепонки — дольше влезет, говорил отец.

Особенно любил Роман уроки родной литературы. Тут мыслям было раздольно, вольно... Вспоминалась невозвратная молодость. Грустно становилось.

Однажды Роман лежал так на диване, курил и слушал. Валерка зубрил «Русь-тройку» из «Мертвых душ».

— «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился...» Нет, это не надо, — сказал сам себе Валерка. И дальше. -«Эх, кони, кони, — что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная богом!.. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!.. Не дает ответа. Чудным звоном заливаются...»

— Не торопись, — посоветовал отец. — Чешешь, как... Вдумывайся! Слова-то вон какие хорошие.

Роман вспомнил, как сам он учил эту самую «Русь-тройку», таким же дураломом валил, без всякого понятия, — лишь бы отбарабанить.

— Потом жалеть будешь...

— Кого жалеть?

— Что вот так учился — наплевательски. Пожалеешь, да поздно будет.

— Я же учу! Чего ты?

— С толком надо учить, а у тебя одна улица на уме. Куда она денется, твоя улица? Никуда она не денется. А время пропустишь...

— Хо-о, ты чего?

— Ничего, не хокай — учи.

— А я что делаю?

— Повнимательней, говорю, надо, а не так!.. лишь бы отбрехаться.

Валерка подстегнул дальше свою «тройку», а Роман — опять за думы. И сладкие эти думы, и в то же время какие-то... нерадостные. Половину жизни отшагал — и что? Так, глядишь, и вторую протопашешь — и ничегошеньки не случится. Роман даже взволновался — так вдруг ясно представилось, как он дотопаёт до конца ровной дорожки и... ляжет. Роман сел на диване. И очень даже просто — ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор Звягин, двоюродный брат... Да-а.

А в уши сыпалось Валеркино:

— «...Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились...»

Вдруг — с досады, что ли, со злости ли — Роман подумал: «А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова?» Роман даже привстал в изумлении... Прошелся по горнице. Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!.. вот так троечка!

— Валерк! — позвал он. — А кто на тройке-то едет?

— Селифан.

— Селифан-то Селифан! То ж — кучер. А кого он везет-то, Селифан-то?

— Чичикова.

— Так... Ну? А тут — Русь-тройка... А?

— Ну. И что?

— Как что? Как что?! Русь-тройка, все гремит, все заливаается, а в тройке — прохиндей, шулер...

До Валерки все никак не доходило — и что?

— Да как же?! — по-настоящему заволновался Роман, но спохватился, махнул рукой. — Учи. Задали, значит, учи, — и чтоб не мешать сыну, вышел из горницы. А изумление все нарастало. Вот так номер! Мчится, вдохновенная богом! — а везет шулера. Это что же выходит? — не так ли и ты, Русь?.. Тьфу!..

Роман походил по прихожей комнате, покурил... Поделиться своей неожиданной странной догадкой не с кем. А очень захотелось поделиться с кем-нибудь. Тут же явный недосмотр! Мчимся-то мчимся, елки зеленые, а кого мчим? Можно же не так все понять. Можно понять... Ну и ну! Роману прямо невтерпеж сделалось. Он вспомнил про школьного учителя Николая Степановича. Сходить?..

— Валерк! — заглянул Роман в горницу. — Николай Степаныч дома?

— Не знаю. А что? — испугался Валерка.

— Да ничего, учи. Сразу струсил... Чего боишься-то? Набедокурил опять чего-нибудь?

— Никого не набедокурил. Чего ты?

— Он в район не собирался ехать?

— Не знаю.

Роман пошел к учителю.

Николай Степаныч был дома, возился в сарае с каким-то хламом. Они с Романом были хорошо знакомы, учитель частенько просил механика насчет машины съездить куда-нибудь.

— Здравствуйте, Николай Степаныч.

— Здравствуйте, Роман Константиныч! — учитель отряхнул пыльные руки, вышел к двери сарая, к свету. — Потерял одну штуку... извозился весь.

— Николай Степаныч, — сразу приступил Роман к делу, — слушал я счас сынишку... «Русь-тройку» учит...

— Так.

— И чего-то я подумал: вот летит тройка, все удивляются, любят, можно сказать, дорогу дают — Русь-тройка! Там прямо сравнивается. Другие державы дорогу дают...

— Так...

— А кто в тройке-то? — Роман пытливо уставился в глаза учителю. Кто едет-то? Кому дорогу-то?..

Николай Степаныч пожал плечами.

— Чичиков едет...

— Так это Русь-то — Чичикова мчит? Это перед Чичиковым шапки все снимают?

Николай Степаныч засмеялся. Но Роман все смотрел ему в глаза — пытливо и требовательно.

— Да нет, — сказал учитель, — при чем тут Чичиков?

— Ну, а как же? Тройке все дают дорогу, все расступаются...

— Русь сравнивается с тройкой, а не с Чичиковым. Здесь имеется... Здесь — движение, скорость, удалая езда — вот что Гоголь подчеркивает. При чем тут Чичиков?

— Так он же едет-то, Чичиков!

— Ну и что?

— Да как же? Я тогда не понимаю: Русь-тройка, так же, мол... А в тройке — шулер. Какая же тут гордость?

Николай Степаныч, в свою очередь, посмотрел на Романа... Усмехнулся.

— Как-то вы... не с того конца зашли.

— Да с какого ни зайдешь, — в тройке-то Чичиков. Ехай там, например... Стенька Разин, — все понятно. А тут — ездил по краю...

— По губернии.

— Ну по губернии. А может, Гоголь, так и имел в виду: подсуроплю, мол: пока догадаются — меня уж живого не будет. А?

Николай Степаныч опять засмеялся.

— Как-то... неожиданно вы все это поняли. Станный какой-то настрой... Чего вы?

— Да вот влетело в башку!..

— Все просто, повторяю: Гоголь был захвачен движением, и пришла мысль о Руси, о ее судьбе...

— Да это-то я понимаю.

— Ну, а что тогда? Лирическое отступление, конец первого тома... Он собирался второй писать. Чичикова он уже оставил — до второго тома...

— В тройке оставил-то, вот что меня... это... и заскребло-то. Как же так, едет мошенник, а... Нет, я понимаю, что тут можно объяснить: движение, скорость, удалая езда... Черт его знает, вообще-то! Ведь и так тоже можно подумать, как я.

— Да подумали уже... чего еще? Можно, конечно. Но это уже будет — за Гоголя. Он-то так не думал.

— Ну, его теперь не спросишь: думал он так или не думал? Да нет, даже не в этом дело, может, не думал. Но вот влетело же мне в голову!

— Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я ни сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так вот не подумал. И ни от кого не слышал, — Николай Степаныч улыбнулся. — Вот ведь!.. И так можно, оказывается, понять. Нет, в этом, пожалуй, ничего странного нет... Вы сынишке-то сказали об этом?

— Нет. Ну, зачем я буду?..

— Не надо. А то... Не надо.

Роман достал папиросы, угостил учителя. Закурили.

— Чего потеряли-то? — спросил Роман.

— Да потерял одну штукенцию... штатив от фотоаппарата. Хочу закат на цвет попробовать снять... Не закаты, а прямо пожары какие-то. И вот потерял, забросил куда-то.

— Закаты теперь дивные, — сказал Роман. — А для чего штатив-то?

— А выдержку-то нужно большую давать. На руках же я не смогу.

— А-а, да. Весной почему-то закаты всегда красивые.

— Да, — учитель посмотрел на Романа и опять невольно рассмеялся. Чичиков, да?.. Странно, честное слово. Надо же додуматься!

Роман тоже усмехнулся, хотел было опять воскликнуть: «Ну а кто едет-то?! Кто?» Но не стал. Несерьезно все это, в самом деле. Ребячество какое-то.

— А ведь сами небось учили?

— Учил! Помню прекрасно, как зубрил тоже... А через тридцать лет только дошло, — Роман покачал головой. Пожал руку учителю и пошел домой.

Он не то что успокоился, а махнул рукой и даже слегка пристыдил себя: «Делать нечего: бегаю, как дурак, волнуюсь — Чичикова везут или не Чичикова?» И опять — как проклятие навалилось — подумал: «Везут-то Чичикова, какой же вопрос?»

— Тьфу! — Роман бросил окурок и полез опять за пачкой. — Вот наказание-то! Это ж надо так... забуксовать. Вот же зараза-то еще прилипла. Надо же!..

ВАСИЛИЙ ШУКШИН. РАССКАЗ «ЧУДИК»

Жена называла его — Чудик. Иногда ласково.

Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории — мелкие, впрочем, но досадные.

Вот эпизоды одной его поездки.

Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет двенадцать не виделись.

— А где блесна такая... на-подвид битюря?!- орал Чудик из кладовой.

— Я откуда знаю?

— Да вот же все тут лежали!- Чудик пытался строго смотреть круглыми иссиня-белыми глазами.- Все тут, а этой, видите ли, нету.

— На битюря похожая?

— Ну, щучья.

— Я ее, видно, зажарила по ошибке.

Чудик некоторое время молчал.

— Ну, и как?

— Что?

— Вкусная? Ха-ха-ха!..- Он совсем не умел острить, но ему ужасно хотелось.- Зубки-то целые? Она ж — дюралевая!..

...Долго собирались — до полуночи.

А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу.

— На Урал! На Урал!- отвечал он на вопрос: куда это он собрался?- Проветриться надо!- При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам — они его не пугали.- На Урал!

Но до Урала было еще далеко.

Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло ему взять билет и сесть на поезд.

Времени оставалось много. Чудик решил пока закупить подарков племяшам — конфет, пряников... Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы — полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:

— Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот — без году неделя руководит коллективом — и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?» Нах-хал!

Шляпа поддакивала.

— Да, да... Они такие теперь. Подумаешь, склероз. А Сумбатыч?.. Тоже последнее время текст не держал. А эта, как ее?..

Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать... Что-то глянул на полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись. Второпях, чтоб его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку.

— Хорошо живете, граждане!- сказал он громко и весело.

На него оглянулись.

— У нас, например, такими бумажками не швыряются.

Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка — пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки — нет.

«Наверно, тот, в шляпе»,-догадался Чудик.

Решили положить бумажку на видное место на прилавке.

— Сейчас прибежит кто-нибудь,- сказала продавщица.

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: «У нас, например, такими бумажками, не швыряются!» Вдруг его точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане... Сунулся в карман — нету. Туда-сюда — нету.

— Моя была бумажка-то!- громко сказал Чудик.- Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то.

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать: «Граждане, моя бумажка-то Я их две получил в сберкассе — одну двадцатипятирублевую, другую полусотельную. Одну, двадцатипятирублевую, сейчас разменял, а другой — нету». Но только он представил, как он огоршит всех этим своим заявлением, как подумают многие «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересилить себя — не протянуть руку за проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать.

— Да почему же я такой есть-то?- вслух горько рассуждал Чудик.- Что теперь делать?..

Надо было возвращаться домой.

Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа... И не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.

Ехал в автобусе и негромко ругался — набирался духу предстояло объяснение с женой.

Сняли с книжки еще пятьдесят рублей

Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъясняла жена (она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове), ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки... Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории. Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.

— У нас в соседней деревне один дурак тоже... Схватил головешку — и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит. «Руки, кричит, руки-то не обожги, сынок!» О нем же и заботится... А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным...

— Сами придумали?- строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.

— Зачем?- не понял тот.- У нас за рекой, деревня Раменское...

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.

После поезда Чудик надо было еще лететь местным самолетом полтора часа. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости. «Неужели в нем за полтора часа ни один винтик не испортится!»- думал. Потом — ничего, осмелел. Попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету, и так ему было интересно, что там, в газете, что уж послушать живого человека ему не хотелось. А Чудик хотел выяснить вот что он слышал, что в самолетах дают поесть. А что-то не несли. Ему очень хотелось поесть в самолете — ради любопытства

«Зажилили»,- решил он.

Стал смотреть вниз. Горы облаков внизу. Чудик почему-то не мог определенно сказать: красиво это или нет? А кругом говорили, что «ах, какая красота!». Он только ощутил вдруг глупейшее желание — упасть в них, в облака, как в вату. Еще он подумал. «Почему же я не удивляюсь? Ведь подо мной чуть ли не пять километров». Мысленно отмерил эти пять километров на земле, поставил их «на попа» — чтоб удивиться, и не удивился.

— Вот человек!.. Придумал же,- сказал он соседу. Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой.

— Пристегнитесь ремнями!- сказала миловидная молодая женщина.- Идем на посадку.

Чудик послушно застегнул ремень. А сосед — ноль внимания. Чудик осторожно тронул его.

— Велят ремень застегнуть.

— Ничего,- сказал сосед Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то:- Дети — цветы жизни, их надо сажать головками вниз.

— Как это?- не понял Чудик.

Читатель громко засмеялся и больше не стал говорить.

Быстро стали снижаться. Вот уже земля — рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объяснили знающие люди, летчик «промазал». Наконец толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовой стук и скрежет. Это читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали — это поразило Чудика. Он тоже молчал. Стали. Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет — на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его.

— Мы, кажется, в картошку сели?

— Что, сами не видите,- ответил летчик.

Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко острить.

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать.

— Эта?!- радостно воскликнул он, И подал.

У читателя даже лысина побагровела.

— Почему обязательно надо руками трогать?- закричал он шепеляво.

Чудик растерялся.

— А чем же?..

— Где я ее кипятить буду?! Где?!

Этого Чудик тоже не знал.

— Поедьте со мной?- предложил он.- У меня тут брат живет. Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету...

Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать.

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

«Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь. Васятка».

Телеграфистка, строгая сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

— Составьте иначе. Вы — взрослый человек, не в детсаде.

— Почему?- спросил Чудик.- Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали...

— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал.

«Приземлились. Все в порядке. Васятка».

Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка» Стало: «Долетели. Василий».

— «Приземлились». Вы что, космонавт, что ли?

— Ну, ладно,- сказал Чудик.- Пусть так будет.

...Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников... О том, что должна еще быть сноха, как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.

Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:

Тополя-а-а .

Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:

— А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно?- И хлопнула дверью.

Брату Дмитрию стало неловко.

— Это... там ребяташки спят. Вообще-то она хорошая.

Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца.

— А помнишь?- радостно спрашивал брат Дмитрий.- Хотя, кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уже не стали оставлять. И все равно, только отвернутся, я около тебя — опять целую. Черт знает, что за привычка была. У самого-то еще сопли по колена, а уж... это... с поцелуями...

— А помнишь?!- тоже вспомнил Чудик.- Как ты меня...

— Вы прекратите орать?- опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно.- Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же — разговорились.

— Пойдем на улицу,- сказал Чудик. Вышли на улицу, сели на крылечке.

— А помнишь?- продолжал Чудик.

Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.

— Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке!.. Сколько злости!

Чудик стал успокаивать брата.

— Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они — психи. У меня такая же.

— Ну чего вот невзлюбила?! За што? Ведь она невзлюбила тебя... А за што?

Тут только понял Чудик, что — да, невзлюбила его сноха. А за что действительно?

— А вот за то, што ты — никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает.. Она и меня-то тоже ненавидит — что я не ответственный, из деревни.

— В каком управлении-то?

— В этом... горно... Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Што она, не знала, што ли?

Тут и Чудика задело за живое.

— А в чем дело, вообще-то?- громко спросил он, не брата, кого-то еще.- Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь -выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так — выходец, рано пошел работать

— А сколько я ей доказывал в деревне-то люди лучше, незаносистые.

— А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его.

— Знал, как же.

— Уже там куда деревня!.. А — пожалуйста: Герой Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали — без вести...

— А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста — кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори .. Не надо.

— Ладно. А этот-то!..

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

— Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь — как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его — до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными...

Потом они устали.

— Крышу-то перекрыл?- спросил старший брат негромко.

— Перекрыл.- Чудик тоже тихо вздохнул -Веранду построил — любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду.. начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребятами приехал — сидели бы все на веранде, чай с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже невзлюбит. А я как-нибудь поласковой буду, она, глядишь, отойдет.

— А ведь сама из деревни! — как-то тихо и грустно изумился Дмитрий.- А вот... Детей замучила, дура одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а — не скажи, сразу ругань.

— Ммх!..- опять возбудился Чудик.- Никак не понимаю эти газеты вот, мол, одна такая работает в магазине — грубая. Эх, вы!.. а она домой придет — такая же. Вот где горе-то! И я не понимаю!- Чудик тоже стукнул кулаком по колену.- Не понимаю: почему они стали злые?

Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было; брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети, постарше, играли во дворе, маленького отнесли в ясли.

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза ему попала детская коляска. «Эге!- подумал Чудик.- Разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено; коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов — стайку уголком, по низу — цветочки

разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток... Осмотрел коляску со всех сторон — загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

— А ты говоришь — деревня. Чудачка.- Он хотел мира со снохой.- Ребеночек-то как в корзиночке будет.

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на витрины. Купил катер племяннику, хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. «Я его тоже разрисую»,- думал.

Часов в 6 Чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял:

— Да ну, что тут!.. Да ладно... Сонь... Ладно уж...

— Чтоб завтра же этого дурака не было здесь!- кричала Софья Ивановна.- Завтра же пусть уезжает!

— Да ладно тебе!.. Сонь...

— Не ладно! Не ладно! Пусть не дожидается — выкину его чемодан к чертовой матери, и все!

Чудик поспешил сойти с крыльца... А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

— Да почему же я такой есть-то?- горько шептал он, сидя в сарайчике.- Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества.

Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился — как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.

— Вот...-сказал он.- Это... опять расшумелась. Коляску-то... не надо бы уж.

— Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка. Брат Дмитрий вздохнул... И ничего не сказал.

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле — в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и пел громко:

Тополя-а а, тополя а...

С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал. Звали его — Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. СКАЗКА «ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ»

Жил-был пескарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же заказали. "Смотри, сынок, - говорил старый пескарь, умирая, - коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!"

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется - везде ему мат. Кругом, в воде, все большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха - в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пескарь - и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? - что это за ехидное создание такое! Каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сети, и верши, и норота, и, наконец... уду! Кажется, что может быть глупее уды? Нитка, на нитке крючок, на крючке - червяк или муха надеты... Да и надеты-то как? В самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пескарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. "Пуще всего берегись уды! - говорил он, - потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься - ан в мухе-то смерть!"

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попало! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, - даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пескарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, - это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда - не знает. Видит, что у него с одного боку - щука, с другого - окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они - не трогают... "В ту пору не до еды, брат, было!" У всех одно на уме: смерть пришла! А как и почему она пришла - никто не понимает.

Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит - "костер", говорят. А на "костре" на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это - "котел", говорят. А под конец стали говорить: вали в "котел" рыбу - будет "уха"! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину - та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется - и присмирееет. "Ухи", значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: "Какой от него, от малыша, прок для ухи! Пущай в реке порастет!" Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки - домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает...

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здоровые понятия об ухе имеет!

Но он, пескарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пескарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить - не то, что мутовку облизать. "Надо так прожить, чтоб никто не заметил, - сказал он себе, - а не то как раз пропадешь!" - и стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому - не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно - именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят - он будет моцион делать, а днем - станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полден, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать - да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглощает воды - и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и все-то думает: "Кажется, что я жив? Ах, что-то завтра будет?"

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок - глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Что, если б в это время шуренок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, - глядит, откуда ни возмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: "Слава тебе, господи! Жив!"

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: "Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!"

И прожил премудрый пескарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется - только дрожит да одну думу думает: "Слава богу! Кажется, жив!"

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: "Вот, кабы все так жили - то-то бы в реке тихо было!" Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется - вот, мол, я! Тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет - неизвестно, только стал премудрый пескарь помирать. Лежит в норе и думает: "Слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец". И вспомнились ему тут щучьи слова: "Вот, кабы все так жили, как этот премудрый пескарь живет..." А ну-ка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: "Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!"

Потому что, для продолжения пескарьего рода, прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того, чтоб пескаря семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствоваться пескарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: "Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!" Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил - дрожал, и умирал - дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? Кого он утешил? Кому добрый совет подал? Кому доброе слово сказал? Кого приютил, обогрел, защитил? Кто слышал об нем? Кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: "Никому, никто".

Он жил и дрожал - только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы - может быть, как и он, пискари - и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: "Дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?" Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пескарь свой жизненный процесс завершает!

И что всего обиднее: не слышать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: "Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылюю свою жизнь бережет?" А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось - щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб, или сам он свою смертью умер и всплыл на поверхность, - свидетелей этому делу не было. Скорее всего - сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и "премудрого"?

Премудрый пискарь или пескарь?

Согласно нормам правописания XIX века, слово «пескарь» в этой сказке традиционно пишется через «и» — «пискарь», в том числе в современных академических (с комментариями) изданиях Салтыкова-Щедрина. Некоторые детские иллюстрированные неакадемические издания называют главного героя согласно современным нормам — «пескарь».

МАКСИМ ГОРЬКИЙ. «ПЕСНЯ О СОКОЛЕ»

Море — огромное, лениво вздыхающее у берега, — уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены — все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

— А-ала-ах-а-акбар!.. — тихо вздыхает Надыр-Рагим-оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, — у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том настроении, когда все кажется прозрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать. А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота — это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам. Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

— Верный богу человек идет в рай. А который не служит богу и пророку? Может, он — вот в этой пене... И те серебряные пятна на воде, может, он же... кто знает?

Темное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

— Рагим!.. Расскажи сказку... — прошу я старика.

— Зачем? — спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

— Так! Я люблю твои сказки.

— Я тебе все уж рассказал... Больше не знаю... — Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

— Хочешь, я расскажу тебе песню? — соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

I

«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море. Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень... А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями... Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя. Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях... С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень... Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты... Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в очи:

— Что, умираешь?

— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

— Ну что же — небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет...»

Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами...

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»

И предложил он свободной птице: «А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и поживешь ты еще немного в твоей стихии».

И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.

И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

Волна потока его схватила и, кровь омывши, одела в пену, умчала в море.

А волны моря с печальным ревом о камень бились... И труп птицы не видно было в морском пространстве...

II

В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прынул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укору? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я — видел небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призываю я не поверю. Земли творенье — землей живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поем мы славу!

Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пусть ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету! Безумству храбрых поем мы песню!..»

... Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывая шумя, ползет к голове Рагима.

— Куда идешь?.. Пшла! — машет на нее Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нимало не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Все кругом смотрит странно живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Все дремлет, но дремлет напряженно чутко, и кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения...

МАКСИМ ГОРЬКИЙ. РАССКАЗ « СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ »

I

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развеивал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее.

Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто, слышался смех...

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там — резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Все это — звуки и запахи, тучи и люди — было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И все как бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

— Что ты не пошел с ними? — кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

— Не хочу, — ответил я ей.

— У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.

— Смотри, вон идет Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрее и ниже сестер, — она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.

— Никого нет там! — сказал я.

— Ты слеп больше меня, старухи. Смотри — вон, темный, бежит степью!

Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.

— Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?

— Потому что это — он. Он уже стал теперь как тень, — порал Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать бог с человеком за гордость!..

— Расскажи мне, как это было! — попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.

И она рассказала мне эту сказку.

«Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там.

Вот какая щедрая земля в той стране!

Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но — не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И, когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже, когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них...

Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их — он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

— Ему нет места среди нас! Пусть идет куда хочет.

Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, — к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

Всех, кто видел это, оковал страх, — впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, — не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же — слишком просто и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными, тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и все обильнее лил на степь голубоватую мглу...

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления... Хотели разорвать его лошадьми — и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали много — и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

— Спросим его, почему он сделал это?

Спросили его об этом. Он сказал:

— Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!

А когда развязали его, он спросил:

— Что вам нужно? — спросил так, точно они были рабы...

— Ты слышал... — сказал мудрец.

— Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

— Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно ты умрешь ведь... Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем...

— Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, — что меня оттолкнула она... А мне было нужно ее.

— Но она не твоя! — сказали ему.

— Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги... а владеет он животными, женщинами, землей... и многим еще...

Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда — жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

Когда люди увидели это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, — тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

— Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему — в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

И тут произошло великое. Грянул гром с небес, — хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон, — юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его — не был человеком... А этот — был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек — все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго — не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

— Не троньте его! Он хочет умереть!

И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож — точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

— Он не может умереть! — с радостью сказали люди.

И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел — высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков — ничего. И все ищет, ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне. И стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели, — странно запели. Сначала раздался контральто, — он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала и первый все лился впереди его... — третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами...

II

— Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? — спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

— Не слышал. Никогда не слышал...

— И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь, — красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже — поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот — поют.

— Но здоровье... — начал было я.

— Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье — то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила — хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.

Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:

— Я жила с матерью под Фальми, на самом берегу Бырлата; и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна: «Эй, нет ли у вас вина... и поесть мне?» Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит: «Вот какая красавица живет тут!.. А я и не знал про это!» Точно он уж знал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свинины... А через четыре дня дала уже и всю себя... Мы всё катались с ним в лодке по ночам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. И едем... Он был рыбаком с Прута, и потом, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривал все меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла. Но мне уж не нравился он тогда — только поет да целуется, ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут... Так вот тем — весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке, — и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил богатые — легко же ведь доставалось все им! И пирует у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их... Как ее звали? Забыла как... Все стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, все забудешь! Она меня познакомила с молодцом. Был хорош... Рыжий был, весь рыжий — и усы и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо... А я, как кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее...

— А рыбак куда девался? — спросил я.

— Рыбак? А он... тут... Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала все уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом — ничего, пристал к ним и другую завел... Их обоих и повесили вместе — и рыбака и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!..» Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как они хотели

уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли... Все-таки румыну заплатили после... Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.

— Это ты сделала? — наудачу спросил я.

— Много было друзей у гуцулов, не одна я... Кто был их лучшим другом, тот и справил им поминки...

Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн, — задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возрастающим шорохом волн... ибо усиливался ветер.

— А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила, — ничего... Но скучно стало... — всё женщины, женщины... Восемь было их у него... Целый день едят, спят и болтают глупые речи... Или ругаются, квохчут, как курицы... Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил — как владыка... Глаза были черные... Прямые глаза... Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букурешти увидела... Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» — говорит. «О да, поеду!» — «Хорошо!» И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был — черненький мальчик, гибкий такой... Ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка... Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку... Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего — уже не помню.

Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька... и к ней из монастыря другого, — около Арцер-Паланки, помню, — ходил брат, тоже монашек... Такой... как червяк, все извивался предо мной... И когда я выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его.

— Погоди!.. А где маленький турок?

— Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви... но стал сохнуть он, так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца... так и сох все... помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а все еще в нем горит любовь... И все просит наклониться и поцеловать его... Я любила его и, помню, много целовала... Потом уж он совсем стал плох — не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним... он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный... мертвый... Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная... а он — что же?.. Мальчик!..

Она вздохнула и — первый раз я видел это у нее — перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.

— Ну, отправилась ты в Польшу... — подсказал я ей.

— Да... с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. Я рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и, как ребенка, — подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я

смотрела на него сверху, а он барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, все равно как бы с покойниками.

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок Востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный... И все они — только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, — тоже почти тень.

Она продолжала:

— В Польше Стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Все шипят... Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня; не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить — надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь, если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлат, я порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго и раз вот что сделал; пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стучали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо, и живот — как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, хотя он и говорил, что продал все земли свои, и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Все лицо было у него изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек!.. Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены... Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, — те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно... О, этот, рубленный, был хороший человек! Он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи!..

И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замолчала сама, задумалась.

— Знала также я и мадьяра одного. Он однажды ушел от меня, — зимой это было, — и только весной, когда стаял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как! Видишь — не меньше чумы губит любовь людей; коли посчитать — не меньше... Что я говорила? О Польше... Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича... Вот был красив! Как черт. Я же стара уж была, эх, стара!

Было ли мне четыре десятка лет? Пожалуй, что и было... А он был еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал... да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой, ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему... И уже в Кракове жила. Тогда у меня все было: и лошади, и золото, и слуги... Он ходил ко мне, гордый демон, и все хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним... Я даже, — помню, — дурнела от этого. Долго это тянулось... Я взяла свое: он на коленях упрашивал меня... Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара... Ох, это было мне не сладко! Вот уж не сладко!.. Я ведь любила его, этого черта... а он, встречаясь со мной, смеялся... подлый он был! И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж горько было мне, скажу! Но он был тут, близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать... И решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу.

Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши... и что он в плену, недалеко в деревне.

«Значит, — подумала я, — не увижу уже его больше!» А видеть хотелось. Ну, стала стараться увидеть... Нищей оделась, хромой, и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты... дорого мне стоило быть там! Узнала я, где поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне это было. И вот ночью подползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит на моей дороге... А уж слышно мне — поют поляки и говорят громко. Поют песню одну... к матери бога... И тот там же поет... Аркадэк мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше за мной ползали... а вот оно, пришло время — и я за человеком поползла змеей по земле и, может, на смерть свою ползу. А этот часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне? Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу: «Погоди!..» А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне штык. Я говорю ему шепотом: «Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть! Не могу тебе ничего дать, а прошу тебя...» Он опустил ружье и также шепотом говорит мне: «Пошла прочь, баба! пошла! Чего тебе?» Я сказала ему, что сын у меня тут заперт... «Ты понимаешь, солдат, — сын! Ты ведь тоже чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня — у меня есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне посмотреть на него, может, он умрет скоро... и, может, тебя завтра убьют... будет плакать твоя мать о тебе? И ведь тяжело будет тебе умереть, не взглянув на нее, твою мать? И моему сыну тяжело же. Пожалей же себя и его, и меня — мать!..»

Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил нас. Ветер выл и ревел, и толкал меня то в спину, то в грудь. Я стояла и качалась перед этим каменным солдатом... А он все говорил: «Нет!» И каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадэка... Я говорила и мерила глазами солдата — он был маленький, сухой и все кашлял. И вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, все упрашивая его горячими словами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтоб он не кричал. Он не кричал, а только все барахтался, стараясь сбросить меня с своей спины. Я же обеими руками втискивала его голову глубже в грязь. Он и задохнулся... Тогда я бросилась к амбару, где пели поляки. «Аркадэк!..» — шептала я в щели стен. Они догадливые, эти поляки, — и, услышав меня, не перестали петь! Вот его глаза против моих. «Можешь ты выйти отсюда?» — «Да, через пол!» — сказал он. «Ну, иди же». И вот четверо их вылезло из-под этого амбара: трое и Аркадэк мой. «Где часовые?» — спросил Аркадэк. «Вон лежит!..» И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро так шли. Аркадэк держал меня за руку, и его рука была горяча и дрожала. О!.. Мне так хорошо было с ним, пока он молчал. Последние это были минуты — хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на

луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Ох, как они долго и много говорили мне что-то! Я все слушала и смотрела на своего пана. Что же он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так важно... Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня... И стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева!» Вот какая лживая собака была это!.. Ну, тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он предо мной... Стоят и те трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на них... Мне тогда стало — помню — только скучно очень, и такая лень напала на меня... Я сказала им: «Идите!» Они, псы, спросили меня: «Ты воротись туда, указать наш путь?» Вот какие подлые! Ну, все-таки ушли они. Тогда и я пошла... А на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидела я, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой! Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели... Пора, пора! Тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. И вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! Одна живу... Нет, не одна, а вон с теми.

Старуха махнула рукой к морю. Там все было тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал тотчас же.

— Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все... И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю: «Вот и я, было время, такая же была... Только тогда, в мое время, больше было в человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше... Да!..»

Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то... может быть, молилась.

С моря поднималась туча — черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака... Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова... На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.

— Видишь ты искры? — спросила меня Изергиль.

— Вон те, голубые? — указывая ей на степь, сказал я.

— Голубые? Да, это они... Значит, летают все-таки! Ну-ну... Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.

— Откуда эти искры? — спросил я старуху.

Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.

— Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем... И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это... Тоже старая сказка... Старое, все старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А теперь вот нет ничего такого — ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину... Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь... Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхехе!.. Смотрели бы в старину зорко — там все отгадки найдутся... А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого... Я не вижу разве жизнь?

Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут — судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится все меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа.

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.

И вот она начала рассказ.

III

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой — была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна — назад, — там были сильные и злые враги, другая — вперед, там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди всё сидели и думали. Но ничто — ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, — и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче... Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни... Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди...

«Данко — один из тех людей, молодой красавец. Красивые — всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

— Не своротить камня с пути дуמוю. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — все на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..

Посмотрели на него и увидели, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

— Веди ты нас! — сказали они.

Тогда он повел...»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повел их Данко. Дружно все пошли за ним — верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающимися вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гнев обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, — вот как!

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

— Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!

— Вы сказали: «Веди!» — и я повел! — крикнул Данко, становясь против них грудью.— Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

Но эти слова разъярили их еще более.

— Ты умрешь! Ты умрешь! — ревели они.

А лес все гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали, что он расщипел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки,

ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...

— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещаая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что была горячей струей из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

— Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: «Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?» И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи, медленно, скучно... Море шумело глухо и печально.

ДЖЕЙМС ДЖОЙС. РАССКАЗ «ЭВЕЛИН»

Она сидела у окна, глядя, как улицей завладевает вечерний сумрак. Головой она прислонилась к занавеске, так что в ноздрях у нее стоял запах пропыленного кретона. Она устала.

Прохожих было немного. Прошел с работы мужчина из крайнего дома; до нее доносилось, как его подошвы постукивают по бетонке, потом поскрипывают по шлаку дорожки, ведущей к новым красным домам. Раньше на месте их был пустырь, где они играли по вечерам с детьми из других семей. Потом тот пустырь купил человек из Белфаста и построил на нем дома – не такие, как их бурые маленькие домики, а яркие, кирпичные, с блестящими крышами. Дети со всей улицы всегда играли на пустыре – Девины, Уотерсы, Данны, и Кео, малыш-калека, и она с сестрами и братьями.

Только Эрнест никогда не играл с ними, он уже слишком вырос. Отец часто гонял их с поля, размахивая своей тростью из терновника, но обычно малыш Кео стоял у них на атасе и вовремя сигнализировал, когда отец появлялся. А все-таки они были, пожалуй, довольно счастливы в ту пору. Мать еще была жива, и отец был помягче. Давно это было; с тех пор и она, и братья с сестрами стали взрослыми, а мать умерла. Тиззи Данн тоже умерла, Уотерсы уехали в Англию. Все меняется. Вот и ей пришло время уезжать, как уехали другие, время покинуть дом.

Дом! Она обвела взглядом комнату, все знакомые вещи, с которых она в течение столько лет раз в неделю стирала пыль, всякий раз удивляясь, откуда берется столько пыли. Может быть, она никогда уже не увидит эти вещи, а ей ведь даже во сне не снилось, что она вдруг с ними расстанется.

Хотя за все годы она так и не узнала, как звали того священника, чья пожелтевшая фотография висела над сломанной фисгармонией, рядом с цветной репродукцией обетований, данных Блаженной Маргарите Марии Алакок. Он был школьным товарищем отца. Показывая фотографию какому-нибудь гостю, отец всегда добавлял как бы вскользь:

– Он сейчас в Мельбурне.

Она согласилась уехать, покинуть дом. Разумно ли это? Она пыталась взвесить со всех сторон.

Здесь, дома, были, по крайней мере, кусок хлеба и кров и вокруг были люди, которых она знала всю жизнь. Конечно, приходилось и тяжело трудиться, что дома, что на службе. Что, интересно, про нее скажут в магазине, когда узнают, что она убежала с парнем? Скажут, что дура, верней всего, и заполнят место по объявлению. Мисс Гэйвен порадуется. Она всегда придиралась к ней, особенно когда люди могли слышать.

– Мисс Хилл, вы что, не видите, эти дамы ждут?

– Мисс Хилл, поживей, пожалуйста.

Да, по своему магазину она сильно горевать не будет.

Но там, в новом доме, в неведомой далекой стране, все будет уже не так. Там она будет замужем – она, Эвелин. Ее будут уважать, и с ней не будет такого обращения, какое досталось матери. Даже теперь, когда ей уж было за девятнадцать, она себя чувствовала иногда под угрозой отцовских выходок, и она знала, что эти сердцебиения у нее, это из-за них. В детстве он никогда так не набрасывался на нее, как на Гарри и на Эрнеста, потому что она была девочка, но в последнее время он начал ей угрожать и говорить, что он бы ей показал, если бы не память покойной матери. А заступиться за нее было сейчас совсем некому. Эрнест умер, а Гарри, который занимался отделкой церковью, все время был где-нибудь в провинции. Кроме того, вечером по субботам непременно бывала свара из-за денег, которой она просто уже не могла больше переносить. Она всегда отдавала все свое жалованье, семь шиллингов, и Гарри тоже присылал сколько мог, но вся трудность была хоть что-то получить от отца. Он говорил, что она мотовка, что она безголовая, что ему денежки трудно достаются и он не собирается их отдать, чтобы она выкинула на улицу, и много чего еще говорил, вечером по субботам он бывал невозможный. В конце концов он давал деньги и спрашивал, намерена ли она покупать еду на воскресенье. Ей приходилось бежать за провизией со всех ног, толкаться в толпе, сжимая крепко черный кожаный кошелек, и потом возвращаться уже поздно с тяжелым грузом. Это была тяжелая работа, вести весь дом и еще следить, чтобы двое младших, оставшихся на ее попечении, как надо ходили в школу и как надо питались. Тяжелая работа, тяжелая жизнь – но сейчас, когда она вот-вот должна была от всего этого уехать, она не могла сказать, что это была уж совсем нежеланная жизнь.

Теперь ей предстояло узнать другую жизнь, с Фрэнком. Фрэнк был очень добрым, мужественным, прямодушным. Ей предстояло отправиться с ним ночным пароходом, и стать его женой, и жить с ним в Буэнос-Айресе, где ее ждал уже его дом. Она так ясно помнила их первую встречу; он жил в доме на большой улице, куда она заходила иногда. Казалось, это было каких-нибудь несколько недель назад. Он стоял у ворот, фуражка была сдвинута на затылок, и над загорелым лицом свисали взлохматившиеся волосы. Потом они познакомились. Каждый вечер он встречал ее после работы и провожал домой. Он ее сводил на «Цыганку», и она была в восторге, что она сидит с ним, и совсем в другой, непривычной части театра. Он страшно любил музыку и немножко пел. Люди знали о том, что они встречаются, и когда он пел про подружку моряка, она всегда чувствовала приятное смущение. Он ее в шутку звал Лапулька. Сначала ей просто было интересно, что у нее есть парень, а потом он ей стал нравиться. У него были всякие рассказы о дальних странах. Он начал юнгой, служил за фунт в месяц на пароходе линии Аллена, ходившем в Канаду. Он называл ей названия пароходов, на которых плавал, названия разных линий. Плавал он и через Магелланов пролив и рассказывал ей ужасные истории про патагонцев. Но в Буэнос-Айресе он окончательно бросил якорь, так он сказал, и сейчас приехал на родину только в отпуск. Конечно, отец обо всем прознал и запретил ей иметь с ним дело.

– Знаю я этих морячков, – сказал он.

Потом он устроил ссору с Фрэнком, и с тех пор она со своим возлюбленным встречалась тайком.

Вечер за окном сгущался. Два письма, что лежали у нее на коленях, белели уже совсем смутно.

Одно письмо было для Гарри, другое для отца. Больше всех она любила Эрнеста, но Гарри любила тоже. В последнее время, она заметила, отец начал стареть; ему будет ее не хватать. Иногда он бывал и очень милый. Не так давно, когда она слегла на один день, он ей

прочел историю о привидениях и сделал для нее гренки на огне. А однажды, когда еще мать была жива, они все вместе ездили на пикник на мыс Хоут. Ей вспомнилось, как отец, чтобы посмешить детей, надел мамину шляпку.

Времени уже почти не было, а она все сидела у окна, прислонясь к занавеске и вдыхая запах пропыленного кретона. На улице где-то далеко играла уличная шарманка. Она знала этот мотив. Как странно, что он возник именно в эту ночь, напомнить ей об обещании, данном матери, – обещании беречь дом и вести его, пока она только сможет. Ей вспомнилась последняя ночь маминой болезни; она была снова в темной, тесной комнатке рядом с прихожей и слышала на улице унылый итальянский мотив. Шарманщику дали шестипенсовик и велели уходить. Отец с важным видом вернулся в комнату к больной и сказал:

– Проклятые итальяшки! и чего они лезут к нам!

В ее раздумьях жалкое зрелище жизни матери наложило печать и на ее собственное существование в самом его зародыше, – зрелище этой жизни из повседневных жертв, завершившейся безумием. Она вздрогнула, когда в ней снова прозвучал голос матери, без конца повторявший с полоумным упорством:

– Derevaun Seraun! Derevaun Seraun!

Охваченная порывом ужаса, она вскочила. Бежать! Надо бежать! Фрэнк спасет ее. Он даст ей жизнь, а может быть, и любовь. Она хочет жить. Почему она должна быть несчастной? У нее есть право на счастье. Фрэнк обнимет ее, укроет ее в своих объятиях. Он спасет ее.

* * *

Она стояла среди колышущейся толпы на пристани Норс-Уолл. Он держал ее за руку, и она знала, что он что-то ей говорит, еще и еще раз что-то о переезде. Пристань была полна солдат с бурами вещмешками. За широкими воротами угадывалась черная туша парохода, лежащая вдоль стены набережной, светились иллюминаторы. Она ничего не отвечала. Она чувствовала, что щеки у нее похолодели и побледнели, мысли запутались, и в смятении молила Бога наставить ее, указать ей, в чем ее долг. Пароход в тумане издал протяжный, скорбный гудок. Если она уедет, завтра она будет в море вместе с Фрэнком, на пути к Буэнос-Айресу. Билеты им были куплены. Разве она могла сейчас отказаться, после всего, что он для нее сделал? Смятение вызвало у нее приступ тошноты; губы ее шевелились в истовой беззвучной молитве.

Удар колокола отдался у нее в сердце. Она почувствовала, как он схватил ее за руку:

– Пойдем!

Волны всех морей мира обрушились на ее сердце. Он ее тащит в эту пучину – он ее утопит!

Обеими руками она вцепилась в железные перила.

– Иди!

Нет! Нет! Нет! Это невозможно. Руки ее судорожно стискивали железо. Поглощаемая пучиной, она издала вопль отчаяния.

– Эвелин! Эви!

Он пересек второпях барьер и звал ее за собой. Ему кричали идти на борт, но он все звал ее. Она обратила к нему побелевшее лицо, безвольно застывшая, как затравленное животное. Глаза были направлены на него, но в них не было никакого знака любви, или прощания, или узнавания.

О'ГЕНРИ. РАССКАЗ «ДАРЫ ВОЛХВОВ»

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью: "М-р Джеймс Диллингхем Юнг" "Диллингхем" развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове "Диллингхем" потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное "Д"? Но когда мистер Джеймс Диллингхем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: "Джим!" и нежные объятия миссис Джеймс Диллингхем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкое, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс. Диллингхем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы - специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо; всякий раз доставал бы часы из кармана - специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову - и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: "M-me Sophronie. Всевозможные изделия из волос", Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

- Не купите ли вы мои волосы? - спросила она у мадам.

- Я покупаю волосы, - ответила мадам. - Снимите шляпу, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

- Двадцать долларов, - сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.

- Давайте скорее, - сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях - прошу прощения за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец, она нашла. Без сомнения, что было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном, Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, - такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму, Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство - эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восьмьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.

"Ну, - сказала она себе, - если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!"

В семь часов кофе был сварен, раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

- Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась.

Дверь открылась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттера учувший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало Страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас - ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, в лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

- Джим, милый, - закричала она, - не смотри на меня так. Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердись, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

- Ты остригла волосы? - спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

- Да, остригла и продала, - сказала Делла. - Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

- Так, значит, твоих кос уже нет? - спросил он с бессмысленной настойчивостью.

- Не ищи, ты их не найдешь, - сказала Делла. - Я же тебе говорю: я их продала - остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, - продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно, - но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше - восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам

неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.

- Не пойми меня ложно, Делл, - сказал он. - Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же - увы! - чисто по женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней один задний и два боковых, - которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого... Делла знала это, - и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вождеденный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

- У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:

- Ах, боже мой!

Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.

- Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

- Делл, - сказал он, - придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.

ЮРИЙ МАРКОВИЧ НАГИБИН. РАССКАЗ «ЗАБРОШЕННАЯ ДОРОГА»

Был ли в яви или только приснился мне этот странный мальчик, овеянный нежностью и печалью нездешности, как Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери? Я знаю, что он был, как было и булыжное шоссе, заросшее подорожником, лопухами, репейником, конским щавелем, чайной ромашкой; но даже если б этот мальчик принадлежал сну, он затронул мою душу неизмеримо сильнее многих других людей, чья грубая очевидность не вызывает сомнения.

Часто бывает, что чудеса находятся возле нас — протяни руку и возьми, а мы и не подозреваем об этом! Тот день начался с маленького чуда: оказалось, низинный сыроватый ольшаник, примыкавший с севера к дачной ограде, сказочно богат грибами свинушками. Грибы стояли в лезвистой осоковой траве не то что табунками — они сливались в сплошные изжелта-бурые поля. Маленькие подсвинки с белой подкладкой аккуратных круглых шляпок соседствовали с гигантами, похожими на вывернутые ветром зонтики, каждая воронка хранила каплю росной влаги. Я набивал свинушками рубаху, бегом относил их домой и возвращался в лес.

Помимо грибов, ольшаник кишмя кишел лягушками; не раз, протягивая руку к ножке гриба, я касался противно-холодного тела, мгновенно проскальзывающего под пальцами. Можно было подумать, что грибы и лягушки пребывают в некой таинственной связи, обеспечивающей им избыточное бытие.

Как и всегда бывает во время счастливого грибного промысла, я становился все разборчивее: меня уже не радовали большие, квелые грибы, я срывал лишь маленькие, резиново-твердые, затем уже среди них я стал выбирать самые ладные и чистенькие крепыши. Эти разборчивые поиски завели меня в глубь леса. Грибов вскоре стало куда меньше, затем они и вовсе исчезли, но я не жалел об этом, пресыщенный чрезмерностью удачи. Меня увлекло странствие по незнакомому лесу, менявшему свой облик по мере удаления от дачи. Низина сменилась возвышенностью, почва под ногами окрепла, и болотные травы уступили место папоротникам и хвощам. А затем сумеречный, веющий сыростью и прелью ольшаник и вовсе сошел; светло, молочно забелели березы, жемчужно заяснили осины, под ними шелково натянулась густая низкая трава, задымились столбы солнечного света, косо павшие на лес.

Я вытряхнул грибы из рубашки и надел ее на себя, безнадежно замаранную, приятно и остро пахучую от свинушек, и двинулся дальше. Радостно-тревожное чувство владело мною: я знал, что ушел не так уж далеко и все же куда сильнее оторвался от дома, чем если бы забрел в последнюю даль по знакомой, проторенной тропке. Загадочен был этот светлый, чистый березовый и осиновый лесок, выкроивший себе немалую площадь посреди ольшаника. Ведь ни березы, ни осины не имели выхода в простор. Я хорошо знал окрестность: и со стороны Дмитровского шоссе, и со стороны нашей дачи, и со стороны кочкастого болота, тянущегося за горизонт, лесные опушки были сплошь ольховые.

Чем дальше я шел, тем плотнее росли деревья, узкие прозоры между ними забил валежник, трава поднялась, стала в пол моего роста, а стройные, розовые, похожие на свечи цветы вознеслись куда выше моей головы, и все труднее пробираться вперед, и чуть посмерклось, потому что дымно-голубые столбы не могли пробиться сквозь теснотищу куп. И тут я набрел на этого мальчика, и свершилось главное чудо дня.

Небольшой, худенький, с узким лицом, загороженным круглыми очками в толстой черепаховой оправе, он полол, словно огородную грядку, невесть откуда взявшееся тут густо заросшее булыжное шоссе. Он уже расчистил довольно широкую полосу, и там плотно, крепко круглились сероватые в просинь и розоватость лобастые булыжники, а дальше шоссе терялось в густой поросли сорняков. Мальчик не только полол шоссе, он укреплял его по краям, вколачивая самодельной трамбовкой булыжники в гнезда.

— Здравствуй, — сказал он, обернувшись и доброжелательно глядя на меня большими коричневыми глазами из-за круглых плоских стекол оконной прозрачности.

— Здравствуй, — отозвался я. — Зачем ты носишь очки? У тебя же простые стекла.

— От пыли. Когда ветрено, дорога пылит, а у меня конъюнктивит, — пояснил он с гордостью.

— А что это за дорога? Я никогда ее раньше не видел.

— Не знаю... Ты не хочешь мне помочь?

Я пожал плечами и, нагнувшись, выдрал куст чертополоха с темно-красными цветами и цепкими шипиками. Затем я потащил какое-то длинное растение с сухими темными коробочками семенников, будто наполненными ватой. Растение не поддавалось, вцепившись в землю длиннющими волосяно-тонкими корнями. Я изрезал ладони, пока наконец вырвал его из земли. Да, это была работка! Недаром же у очкастого мальчика руки были в кровавых ссадинах. Мой пыл разом угас.

— Слушай, а зачем тебе это нужно? — спросил я.

— Ты же видишь, дорога заросла. — Он говорил, стоя на коленях, и щепкой выковыривал из земли какой-то корень. — Надо ее расчистить.

— А зачем? — упорствовал я.

— Ну как же!.. — У него был вежливый, мягкий и терпеливый голос. — Цветы и травы своими корнями разрушают дорогу. Раньше булыжник лежал к булыжнику, а теперь видишь, какие щели!..

— Я не о том!.. Зачем надо, чтобы она не разрушалась?

Он осторожно, за дужку, снял очки, ему хотелось получше рассмотреть человека, задающего такие несуразные вопросы, а припылившиеся стекла только мешали. Его не защищенные очками глаза оказались в еле приметном красном обводе, будто кто-то провел по векам тончайшей кисточкой. Видимо, это он и называл так звучно: «конъюнктивит».

— Если дорога разрушится, она исчезнет, и никто не узнает даже, что тут была дорога.

— Ну и черт с ней! — сказал я раздраженно. — Она все равно никуда не ведет!

— Все дороги куда-нибудь ведут, — сказал он с кроткой убежденностью и, водворив очки назад, принялся за работу. — Посуди сам, разве стали бы ее строить, если б она никуда не вела?

— Но раз ее забросили, значит, она не нужна?

Он задумался, чуть перекосив худенькое лицо, и даже перестал выдергивать цветы и травинки. В его коричневых глазах появилась боль — так трудно вложить в чужую душу самые простые и очевидные истины!

— Разве мы знаем, почему дорогу забросили?.. А может быть, кто-то на другом конце тоже пробует ее расчистить? Кто-то идет мне навстречу, и мы встретимся. Нельзя дорогам зарастать, — сказал он твердо. — Я обязательно ее расчищу.

— У тебя не хватит сил.

— У меня одного — нет. Но кто-то идет мне навстречу и, может быть, прошел уже пол пути...

— Далась тебе эта дорога!

— Дороги — это очень важно. Без дорог никто никогда не будет вместе.

Смутная догадка шевельнулась во мне:

— У тебя кто-нибудь уехал далеко?

Он не ответил и отвернулся.

— Я буду тебе помогать! — неожиданно для себя самого вскричал я.

— Спасибо! — сказал он искренне, но без излишней горячности. — Приходи сюда завтра утром, сегодня уже поздно: пора домой.

— А где ты живешь?

— Там... — махнул он на чащу, поднялся, вытер ладони пучком травы, спрятал очки в карман, в последний раз погрузил меня в доброту своих коричневых глаз и пошел прочь, перепачканный, усталый, тщедушный, непреклонный дорожный строитель, и вскоре скрылся за кустами жимолости.

На другой день ни свет ни заря я устремился в лес. Непролазный, оплетенный долгими травами ольшаник в туманном выпоте, густых испарениях, оседавших влагой на коже, походил не то на джунгли, не то на дно схлынувшего моря. Ночью шел дождь, он дал могучий прирост всей жизни в природе: вытянулись, ярче зазеленели осоты; свинушки, будто я и не произвел вчера опустошения, так и перли из травы свежей прожелтью; в каждой лягушке скрывалась заколдованная принцесса — так были они величавы, исполнены надменности и нежелания посторониться.

Я мчался сквозь ольшаник, сам мокрый с головы до пят, охваченный жгучим нетерпением и умиленный предвкушением встречи с мальчиком на заросшем бульжном шоссе, — его вера уже стала моей верой. Я был уверен, что без труда отыщу шоссе, ведь это так просто: все прямо и прямо сквозь ольшаник, березовый и осиновый редняк и другой березовый лесок, забитый буреломом, и там обнажится чистая полоска синеватого и розового бульжника.

...Я так и не нашел заброшенного шоссе. Все было похоже на вчерашнее: и деревья, и травы, и валежник, и репьевые заросли, и розовые свечи высоких цветов, но не было ни шоссе, ни мальчика с коричневыми глазами. До заката мыкался я по лесу, измученный, голодный, с иссеченными травой и сушняком ногами, но все было тщетно...

Мне никогда уж не попадалось ни заброшенного шоссе, ни проселка, ни даже стежки, что нуждались бы в моем спасающем труде. Но с годами я по-иному понял наставление мальчика. В моем сердце начиналось много дорог, ведущих к разным людям: и близким, и далеким, и к тем, о ком ни минуты нельзя забыть, и к почти забытым. Вот этим дорогам был я нужен, и я стал на вахту. Я не жалел ни труда, ни рук, я рвал напрочь чертополох, и крапиву, и всю прочую нечисть, не давал сорнякам глушить, разрушать их, превращать в ничто. Но если я преуспевал в этом, то лишь потому, что всякий раз с другого конца дороги начиналось встречное движение. Лишь одну, самую важную дорогу не дано мне было спасти, быть может, потому, что никто не шевельнулся мне навстречу.

РИЧАРД МАТЕСОН. РАССКАЗ «КНОПКА, КНОПКА»

Пакет лежал прямо у двери — картонная коробка, на которой от руки были написаны их фамилия и адрес: «Мистеру и миссис Льюис, 217Е, Тридцать седьмая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10016».

Внутри оказалась маленькая деревянная коробка с единственной кнопкой, закрытой стеклянным колпачком. Норма попыталась снять колпачок, но он не поддавался. К днищу коробочки липкой лентой был прикреплен сложенный листок бумаги: «Мистер Стюарт зайдет к вам в 20.00».

Норма перечитала записку, отложила ее в сторону и, улыбаясь, пошла на кухню готовить салат.

Звонок в дверь раздался ровно в восемь.

— Я открою! — крикнула Норма из кухни. Артур читал в гостиной.

В коридоре стоял невысокий мужчина.

— Миссис Льюис? — вежливо осведомился он. — Я мистер Стюарт.

— Ах, да... — Норма с трудом подавила улыбку. Теперь она была уверена, что это рекламный трюк торговца.

— Разрешите войти? — спросил мистер Стюарт.

— Я сейчас занята. Так что, извините, просто вынесу вам вашу...

— Вы не хотите узнать, что это?

Норма молча повернулась.

— Это может оказаться выгодным...

— В денежном отношении? — вызывающе спросила она. Мистер Стюарт кивнул.

— Именно.

Норма нахмурилась.

— Что вы продаете?

— Я ничего не продаю, — ответил он.

Из гостиной вышел Артур.

— Какое-то недоразумение?

Мистер Стюарт представился.

— А-а, эта штукавина... — Артур кивнул в сторону гостиной и улыбнулся. — Что это вообще такое?

— Я постараюсь объяснить, — сказал мистер Стюарт. — Разрешите войти?

Артур взглянул на Норму.

— Как знаешь, — сказала она.

Он заколебался.

— Ну что ж, заходите.

Они прошли в гостиную. Мистер Стюарт сел в кресло и вытащил из внутреннего кармана пиджака маленький запечатанный конверт.

— Внутри находится ключ к колпачку, закрывающему кнопку, — пояснил он и положил конверт на журнальный столик. — Кнопка соединена со звонком в нашей конторе.

— Зачем? — спросил Артур.

— Если вы нажмете кнопку, — сказал мистер Стюарт, — где-то в мире умрёт незнакомый вам человек, и вы получите пятьдесят тысяч долларов.

Норма уставилась на посетителя широко раскрытыми глазами.

Тот улыбался.

— О чем вы говорите? — недоуменно спросил Артур.

Мистер Стюарт был удивлён.

— Но я только что объяснил.

— Это что, шутка?

— При чем тут шутка? Совершенно серьёзное предложение...

— Кого вы представляете? — перебила Норма.

Мистер Стюарт смутился.

— Боюсь, что я не могу ответить на этот вопрос. Тем не менее заверяю вас, что наша организация очень сильна.

— По-моему, вам лучше уйти, — заявил Артур, поднимаясь.

Мистер Стюарт встал с кресла.

— Пожалуйста.

— И захватите вашу кнопку.

— А может, подумаете день-другой?

Артур взял коробку и конверт и вложил их в руки мистера Стюарта. Потом вышел в прихожую и распахнул дверь.

— Я оставлю свою карточку. — Мистер Стюарт положил на столик возле двери визитную карточку и ушел.

Артур порвал ее пополам и бросил на стол.

— Как по-твоему, что все это значит? — спросила с дивана Норма.

— Мне плевать.

Она попыталась улыбнуться, но не смогла.

— И ни капельки не любопытно?..

Потом Артур стал читать, а Норма вернулась на кухню и закончила мыть посуду.

— Почему ты отказываешься говорить об этом? — спросила Норма.

Не прекращая чистить зубы, Артур поднял глаза и посмотрел на ее отражение в зеркале ванной.

— Разве тебя это не интригует?

— Меня это оскорбляет, — сказал Артур.

— Я понимаю, но... — Норма продолжала накручивать волосы на бигуди, — но ведь и интригует?..

— Ты думаешь, это шутка? — спросила она уже в спальне.

— Если шутка, то дурная.

Норма села на кровать и сбросила тапочки.

— Может быть, это психологи проводят какие-то исследования.

Артур пожал плечами.

— Может быть.

— Ты не хотел бы узнать?

Он покачал головой.

— Но почему?

— Потому что это аморально.

Норма забралась под одеяло. Артур выключил свет и наклонился поцеловать её.

— Спокойной ночи...

Норма сомкнула веки. Пятьдесят тысяч долларов, подумала она.

Утром, выходя из квартиры, Норма заметила на столе кусочки разорванной карточки. Повинуясь внезапному порыву, она кинула их в свою сумочку.

Во время перерыва она склеила карточку скотчем. Там были напечатаны только имя мистера Стюарта и номер телефона.

Ровно в пять она набрала номер.

— Слушаю, — раздался голос мистера Стюарта.

Норма едва не повесила трубку, но сдержала себя.

— Это миссис Льюис.

— Да, миссис Льюис? — Мистер Стюарт, казалось, был доволен.

— Мне любопытно.

— Естественно.

— Разумеется, я не верю ни одному слову.

— О, это чистая правда, — сказал мистер Стюарт.

— Как бы там ни было... — Норма сглотнула. — Когда вы говорили, что кто-то в мире умрёт, что вы имели в виду?

— Именно то, что говорил. Это может оказаться кто угодно. Мы гарантируем лишь, что вы не знаете этого человека. И, безусловно, что вам не придется наблюдать его смерть.

— За пятьдесят тысяч долларов?

— Совершенно верно.

Она насмешливо хмыкнула.

— Чертовщина какая-то...

— Тем не менее таково наше предложение, — сказал мистер Стюарт. — Занести вам прибор?

— Конечно, нет! — Норма с возмущением бросила трубку.

Пакет лежал у двери. Норма увидела его, как только вышла из лифта. Какая наглость! — подумала она. Я просто не возьму его. Она вошла в квартиру и стала готовить обед. Потом вышла за дверь, подхватила пакет и отнесла его на кухню, оставив на столе.

Норма сидела в гостиной, потягивая коктейль и глядя в окно. Немного погодя она пошла на кухню переворачивать котлеты и положила пакет в нижний ящик шкафа. Утром она его выбросит.

— Может быть, забавляется какой-то эксцентричный миллионер, — сказала она.

Артур оторвался от обеда.

— Я тебя не понимаю.

Они ели в молчании. Неожиданно Норма отложила вилку.

— А что, если это всерьёз?

— Ну и что тогда? — Он недоверчиво пожал плечами. — Что бы ты хотела — вернуть это устройство и нажать кнопку? Убить кого-то?

На лице Нормы появилось отвращение.

— Так уж и убить...

— А что же это, по-твоему?

— Но ведь мы даже не знаем этого человека.

Артур был потрясён.

— Ты говоришь серьёзно?

— Ну, а если это какой-нибудь старый китайский крестьянин за десять тысяч миль отсюда? Какой-нибудь больной туземец в Конго?

— А если это какая-нибудь малютка из Пенсильвании? — возразил Артур. — Прелестная девушка с соседней улицы?

— Ты нарочно все усложняешь.

— Какая разница, кто умрёт? — продолжал Артур. — Все равно это убийство.

— Значит, даже если это кто то, кого ты никогда в жизни не видел и не увидишь, — настаивала Норма, — кто то, о чьей смерти ты даже не узнаешь, ты все равно не нажмешь кнопку?

Артур поражённо уставился на нее.

— Ты хочешь сказать, что ты нажмешь?

— Пятьдесят тысяч долларов.

— При чем тут...

— Пятьдесят тысяч долларов, Артур, — перебила Норма. — Мы могли бы позволить себе путешествие в Европу, о котором всегда мечтали.

— Норма, нет.

— Мы могли бы купить тот коттедж...

— Норма, нет. — Его лицо побелело. — Ради бога, перестань.

Норма пожала плечами.

— Как угодно.

Она поднялась раньше, чем обычно, чтобы приготовить на завтрак Артуру блины, яйца и бекон.

— По какому поводу? — с улыбкой спросил Артур.

— Без всякого повода. — Норма обиделась. — Просто так.

— Отлично. Мне очень приятно.

Она наполнила его чашку.

— Хотела показать тебе, что я не эгоистка.

— А я разве говорил это?

— Ну, — она неопределённо махнула рукой, — вчера вечером...

Артур молчал.

— Наш разговор о кнопке, — напомнила Норма. — Я думаю, что ты неправильно меня понял.

— В каком отношении? — спросил он настороженным голосом.

— Ты решил, — она снова сделала жест рукой, — что я думаю только о себе...

— А-а...

— Так вот, нет. Когда я говорила о Европе, о коттедже...

— Норма, почему это тебя так волнует?

— Я всего лишь пытаюсь объяснить, — она судорожно вздохнула, — что думала о нас. Чтобы мы поехали по Европе. Чтобы мы купили коттедж. Чтобы у нас была лучше квартира, лучше мебель, лучше одежда. Чтобы мы, наконец, позволили себе ребёнка, между прочим.

— У нас будет ребёнок.

— Когда?

Он посмотрел на нее с тревогой.

— Норма...

— Когда?

— Ты что, серьёзно? — Он опешил. — Серьезно утверждаешь...

— Я утверждаю, что это какие-то исследования! — оборвала она. — Что они хотят выяснить, как поступит средний человек при таких обстоятельствах! Что они просто говорят, что кто-то умрёт, чтобы изучить нашу реакцию! Ты ведь не считаешь, что они действительно кого-нибудь убьют?!

Артур не ответил; его руки дрожали. Через некоторое время он поднялся и ушел.

Норма осталась за столом, отрешённо глядя в кофе. Мелькнула мысль: «Я опоздаю на работу...» Она пожала плечами. Ну и что? Она вообще должна быть дома, а не торчать в конторе...

Убирая посуду, она вдруг остановилась, вытерла руки и достала из нижнего ящика пакет. Норма положила коробочку на стол, вынула из конверта ключ и удалила колпачок. Долгое время она сидела, глядя на кнопку. Как странно... ну что в ней особенного?

Норма вытянула руку и нажала на кнопку. Ради нас, раздражённо подумала она.

Что теперь происходит? На миг ее захлестнула волна ужаса.

Волна быстро схлынула. Норма презрительно усмехнулась. Нелепо — так много уделять внимания ерунде.

Она швырнула коробочку, колпачок и ключ в мусорную корзину и пошла одеваться.

Она жарила на ужин отбивные, когда зазвонил телефон. Она поставила стакан с водкой-мартини и взяла трубку.

— Алло?

— Миссис Льюис?

— Да.

— Вас беспокоят из больницы «Легокс хилл».

Норма слушала будто в полусне. В толкучке Артур упал с платформы прямо под поезд метро. Несчастный случай.

Повесив трубку, она вспомнила, что Артур застраховал свою жизнь на двадцать пять тысяч долларов, с двойной компенсацией при...

Нет. С трудом поднявшись на ноги, Норма побрела на кухню и достала из корзины коробочку с кнопкой. Никаких гвоздей или шурупов... Вообще непонятно, как она была собрана.

Внезапно Норма стала колотить ею о край раковины, ударяя все сильнее и сильнее, пока дерево не треснуло. Внутри ничего не оказалось — ни транзисторов, ни проводов... Коробка была пуста.

Норма вздрогнула, когда зазвонил телефон. На подкашивающихся ногах она прошла в гостиную и взяла трубку.

Раздался голос мистера Стюарта.

— Вы говорили, что я не буду знать того, кто умрёт!

— Моя дорогая миссис Льюис, — сказал мистер Стюарт. — Неужели вы в самом деле думаете, что знали своего мужа?

МАЙК ГЕЛПРИН. РАССКАЗ «СВЕЧА ГОРЕЛА»

Звонок раздался, когда Андрей Петрович потерял уже всякую надежду.

— Здравствуйте, я по объявлению. Вы даёте уроки литературы?

Андрей Петрович взгляделся в экран видефона. Мужчина под тридцать. Строго одет — костюм, галстук. Улыбается, но глаза серьёзные. У Андрея Петровича ёкнуло сердце, объявление он вывешивал в сеть лишь по привычке. За десять лет было шесть звонков. Трое ошиблись номером, ещё двое оказались работающими по старинке страховыми агентами, а один попутал литературу с лигатурой.

— Д-даю уроки, — запинаясь от волнения, сказал Андрей Петрович. — Н-на дому. Вас интересует литература?

— Интересует, — кивнул собеседник. — Меня зовут Максим. Позвольте узнать, каковы условия.

«Задаром!» — едва не вырвалось у Андрея Петровича.

— Оплата почасовая, — заставил себя выговорить он. — По договорённости. Когда бы вы хотели начать?

— Я, собственно... — собеседник замялся.

— Первое занятие бесплатно, — поспешно добавил Андрей Петрович. — Если вам не понравится, то...

— Давайте завтра, — решительно сказал Максим. — В десять утра вас устроит? К девяти я отвожу детей в школу, а потом свободен до двух.

— Устроит, — обрадовался Андрей Петрович. — Записывайте адрес.

— Говорите, я запомню.

В эту ночь Андрей Петрович не спал, ходил по крошечной комнате, почти келье, не зная, куда девать трясущиеся от переживаний руки. Вот уже двенадцать лет он жил на нищенское пособие. С того самого дня, как его уволили.

— Вы слишком узкий специалист, — сказал тогда, пряча глаза, директор лицея для детей с гуманитарными наклонностями. — Мы ценим вас как опытного преподавателя, но вот ваш предмет, увы. Скажите, вы не хотите переучиться? Стоимость обучения лицей мог бы частично оплатить. Виртуальная этика, основы виртуального права, история робототехники — вы вполне бы могли преподавать это. Даже кинематограф всё ещё достаточно популярен. Ему, конечно, недолго осталось, но на ваш век... Как вы полагаете?

Андрей Петрович отказался, о чём немало потом сожалел. Новую работу найти не удалось, литература осталась в считанных учебных заведениях, последние библиотеки закрывались, филологи один за другим переквалифицировались кто во что горазд. Пару лет он обивал пороги гимназий, лицеев и спецшкол. Потом прекратил. Промаялся полгода на курсах переквалификации. Когда ушла жена, бросил и их.

Сбережения быстро закончились, и Андрею Петровичу пришлось затянуть ремень. Потом продать автомобиль, старый, но надёжный. Антикварный сервиз, оставшийся от мамы, за ним вещи. А затем... Андрея Петровича мутило каждый раз, когда он вспоминал об этом — затем настала очередь книг. Древних, толстых, бумажных, тоже от мамы. За раритеты коллекционеры давали хорошие деньги, так что граф Толстой кормил целый месяц. Достоевский — две недели. Бунин — полторы.

В результате у Андрея Петровича осталось полсотни книг — самых любимых, перечитанных по десятку раз, тех, с которыми расстаться не мог. Ремарк, Хемингуэй, Маркес, Булгаков, Бродский, Пастернак... Книги стояли на этажерке, занимая четыре полки, Андрей Петрович ежедневно стирал с корешков пыль.

«Если этот парень, Максим, — беспорядочно думал Андрей Петрович, нервно расхаживая от стены к стене, — если он... Тогда, возможно, удастся откупить назад Бальмонта. Или Мураками. Или Амаду».

Пустьяки, понял Андрей Петрович внезапно. Неважно, удастся ли откупить. Он может передать, вот оно, вот что единственно важное. Передать! Передать другим то, что знает, то, что у него есть.

Максим позвонил в дверь ровно в десять, минута в минуту.

— Проходите, — засуетился Андрей Петрович. — Присаживайтесь. Вот, собственно... С чего бы вы хотели начать?

Максим помялся, осторожно уселся на край стула.

— С чего вы посчитаете нужным. Понимаете, я профан. Полный. Меня ничему не учили.

— Да-да, естественно, — закивал Андрей Петрович. — Как и всех прочих. В общеобразовательных школах литературу не преподают почти сотню лет. А сейчас уже не преподают и в специальных.

— Нигде? — спросил Максим тихо.

— Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в конце двадцатого века начался кризис. Читать стало некогда. Сначала детям, затем дети повзрослели, и читать стало некогда их детям. Ещё более некогда, чем родителям. Появились другие удовольствия — в основном, виртуальные. Игры. Всякие тесты, квесты... — Андрей Петрович махнул рукой. — Ну, и конечно, техника. Технические дисциплины стали вытеснять гуманитарные. Кибернетика, квантовая механика и электродинамика, физика высоких энергий. А литература, история, география отошли на задний план. Особенно литература. Вы следите, Максим?

— Да, продолжайте, пожалуйста.

— В двадцать первом веке перестали печатать книги, бумагу сменила электроника. Но и в электронном варианте спрос на литературу падал — стремительно, в несколько раз в каждом новом поколении по сравнению с предыдущим. Как следствие, уменьшилось количество литераторов, потом их не стало совсем — люди перестали писать. Филологи продержались на сотню лет дольше — за счёт написанного за двадцать предыдущих веков.

Андрей Петрович замолчал, утёр рукой вспотевший вдруг лоб.

— Мне нелегко об этом говорить, — сказал он наконец. — Я осознаю, что процесс закономерный. Литература умерла потому, что не ужилась с прогрессом. Но вот дети, вы понимаете... Дети! Литература была тем, что формировало умы. Особенно поэзия. Тем, что определяло внутренний мир человека, его духовность. Дети растут бездуховными, вот что страшно, вот что ужасно, Максим!

— Я сам пришёл к такому выводу, Андрей Петрович. И именно поэтому обратился к вам.

— У вас есть дети?

— Да, — Максим замялся. — Двое. Павлик и Анечка, погодки. Андрей Петрович, мне нужны лишь азы. Я найду литературу в сети, буду читать. Мне лишь надо знать что. И на что делать упор. Вы научите меня?

— Да, — сказал Андрей Петрович твёрдо. — Научу.

Он поднялся, скрестил на груди руки, сосредоточился.

— Пастернак, — сказал он торжественно. — Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела...

— Вы придёте завтра, Максим? — стараясь унять дрожь в голосе, спросил Андрей Петрович.

— Непременно. Только вот... Знаете, я работаю управляющим у состоятельной семейной пары. Веду хозяйство, дела, подбиваю счета. У меня невысокая зарплата. Но я, — Максим обвёл глазами помещение, — могу приносить продукты. Кое-какие вещи, возможно, бытовую технику. В счёт оплаты. Вас устроит?

Андрей Петрович невольно покраснел. Его бы устроило и задаром.

— Конечно, Максим, — сказал он. — Спасибо. Жду вас завтра.

— Литература — это не только о чём написано, — говорил Андрей Петрович, расхаживая по комнате. — Это ещё и как написано. Язык, Максим, тот самый инструмент, которым пользовались великие писатели и поэты. Вот послушайте.

Максим сосредоточенно слушал. Казалось, он старается запомнить, заучить речь преподавателя наизусть.

— Пушкин, — говорил Андрей Петрович и начинал декламировать.

«Таврида», «Анчар», «Евгений Онегин».

Лермонтов «Мцыри».

Баратынский, Есенин, Маяковский, Блок, Бальмонт, Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Высоцкий...

Максим слушал.

— Не устали? — спрашивал Андрей Петрович.

— Нет-нет, что вы. Продолжайте, пожалуйста.

День сменялся новым. Андрей Петрович воспрянул, пробудился к жизни, в которой неожиданно появился смысл. Поэзию сменила проза, на неё времени уходило гораздо больше, но Максим оказался благодарным учеником. Схватывал он на лету. Андрей Петрович не переставал удивляться, как Максим, поначалу глухой к слову, не воспринимающий, не чувствующий вложенную в язык гармонию, с каждым днём постигал её и познавал лучше, глубже, чем в предыдущий.

Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоевский, Тургенев, Бунин, Куприн.

Булгаков, Хемингуэй, Бабель, Ремарк, Маркес, Набоков.

Восемнадцатый век, девятнадцатый, двадцатый.

Классика, беллетристика, фантастика, детектив.

Стивенсон, Твен, Конан Дойль, Шекли, Стругацкие, Вайнеры, Жапризо.

Однажды, в среду, Максим не пришёл. Андрей Петрович всё утро промаялся в ожидании, уговаривая себя, что тот мог заболеть. Не мог, шептал внутренний голос, настырный и вздорный. Скрупулёзный педантичный Максим не мог. Он ни разу за полтора года ни на минуту не опоздал. А тут даже не позвонил. К вечеру Андрей Петрович уже не находил себе места, а ночью так и не сомкнул глаз. К десяти утра он окончательно извёлся, и когда стало ясно, что Максим не придёт опять, побрёл к видеофону.

— Номер отключён от обслуживания, — поведал механический голос.

Следующие несколько дней прошли как один скверный сон. Даже любимые книги не спасали от острой тоски и вновь появившегося чувства собственной никчемности, о котором Андрей Петрович полтора года не вспоминал. Обзвонить больницы, морги, навязчиво гудело в виске. И что спросить? Или о ком? Не поступал ли некий Максим, лет под тридцать, извините, фамилию не знаю?

Андрей Петрович выбрался из дома наружу, когда находиться в четырёх стенах стало больше невмоготу.

— А, Петрович! — приветствовал старик Нефёдов, сосед снизу. — Давно не виделись. А чего не выходишь, стыдишься, что ли? Так ты же вроде ни при чём.

— В каком смысле стыжусь? — оторопел Андрей Петрович.

— Ну, что этого, твоего, — Нефёдов провёл ребром ладони по горлу. — Который к тебе ходил. Я всё думал, чего Петрович на старости лет с этой публикой связался.

— Вы о чём? — у Андрея Петровича похолодело внутри. — С какой публикой?

— Известно с какой. Я этих голубчиков сразу вижу. Тридцать лет, считай, с ними отработал.

— С кем с ними-то? — взмолился Андрей Петрович. — О чём вы вообще говорите?

— Ты что ж, в самом деле не знаешь? — всполошился Нефёдов. — Новости посмотри, об этом повсюду трубят.

Андрей Петрович не помнил, как добрался до лифта. Поднялся на четырнадцатый, трясущимися руками нашарил в кармане ключ. С пятой попытки отворил, просеменил к компьютеру, подключился к сети, пролистал ленту новостей. Сердце внезапно зашлось от боли. С фотографии смотрел Максим, строчки курсива под снимком расплывались перед глазами.

«Уличён хозяевами, — с трудом сфокусировав зрение, считывал с экрана Андрей Петрович, — в хищении продуктов питания, предметов одежды и бытовой техники. Домашний робот-гувернёр, серия ДРГ-439К. Дефект управляющей программы. Заявил, что самостоятельно пришёл к выводу о детской бездуховности, с которой решил бороться. Самовольно обучал детей предметам вне школьной программы. От хозяев свою деятельность скрывал. Изъят из обращения... По факту утилизирован... Общественность обеспокоена проявлением... Выпускающая фирма готова понести... Специально созданный комитет постановил...».

Андрей Петрович поднялся. На негнущихся ногах прошагал на кухню. Открыл буфет, на нижней полке стояла принесённая Максимом в счёт оплаты за обучение початая бутылка коньяка. Андрей Петрович сорвал пробку, заозирался в поисках стакана. Не нашёл и рванул из горла. Закашлялся, выронив бутылку, отшатнулся к стене. Колени подломились, Андрей Петрович тяжело опустился на пол.

Коту под хвост, пришла итоговая мысль. Всё коту под хвост. Всё это время он обучал робота.

Бездушную, дефективную железяку. Вложил в неё всё, что есть. Всё, ради чего только стоит жить. Всё, ради чего он жил.

Андрей Петрович, преодолевая ухватившую за сердце боль, поднялся. Протащился к окну, наглухо завернул фрамугу. Теперь газовая плита. Открыть конфорки и полчаса подождать. И всё.

Звонок в дверь застал его на полпути к плите. Андрей Петрович, стиснув зубы, двинулся открывать. На пороге стояли двое детей. Мальчик лет десяти. И девочка на год-другой младше.

— Вы даёте уроки литературы? — глядя из-под падающей на глаза чёлки, спросила девочка.
— Что? — Андрей Петрович опешил. — Вы кто?
— Я Павлик, — сделал шаг вперёд мальчик. — Это Анечка, моя сестра. Мы от Макса.
— От... От кого?!
— От Макса, — упрямо повторил мальчик. — Он велел передать. Перед тем, как он... как его...
— Мело, мело по всей земле во все пределы! — звонко выкрикнула вдруг девочка.
Андрей Петрович схватился за сердце, судорожно глотая, запихал, затолкал его обратно в грудную клетку.
— Ты шутишь? — тихо, едва слышно выговорил он.
— Свеча горела на столе, свеча горела, — твёрдо произнёс мальчик. — Это он велел передать, Макс. Вы будете нас учить?
Андрей Петрович, цепляясь за дверной косяк, шагнул назад.
— Боже мой, — сказал он. — Входите. Входите, дети.

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС. РАССКАЗ «ПОХИЩЕННАЯ БАЦИЛЛА»

- А вот это, - сказал бактериолог, подкладывая под микроскоп стеклянную пластинку, - препарат знаменитой холерной бациллы - микроб холеры.

Человек с бледным лицом заглянул в микроскоп - очевидно, он не привык иметь дело с этим прибором - и мягкой белой рукой прикрыл левый глаз.

- Я почти ничего не вижу, - сказал он.

- Поверните вот этот винт, - посоветовал бактериолог, - может быть, изображение не в фокусе для вас, глаза ведь у всех разные. Чуть-чуть поверните в одну сторону, потом в другую.

- Так, теперь вижу, - сказал посетитель, - но в конце концов видеть-то особенно нечего. Розовые полоски и пятнышки. А между тем такие вот крошечные существа, эти ничтожные микробы могут размножиться и опустошить целый город. Удивительно!

Он встал и, вынув пластинку из-под микроскопа, поднял ее, рассматривая на свет.

- Их почти не видно, - сказал он, разглядывая препарат, и, помолчав, добавил: - Это живые бациллы? Они опасны?

- Нет, они убиты и окрашены, - ответил бактериолог. - Я хотел бы, чтобы мы могли умертвить все подобные бациллы во вселенной.

- Думаю, - с легкой улыбкой проговорил человек с бледным лицом, - что вам не очень-то хотелось бы держать у себя такие существа живыми, в активном состоянии.

- Напротив, нам обязательно надо держать их живыми, - возразил бактериолог. - Да вот, например... - Он прошел в другой конец комнаты и взял одну из нескольких запечатанных пробирок. - Вот это - живая бацилла. Это - культура живой бактерии... - Он запнулся. - Так сказать, холера, загнанная в бутылку.

На бледном лице посетителя на мгновение, блеснуло выражение удовольствия.

- Вы владеете смертоносным оружием, - проговорил он, впиваясь глазами в пробирку. На лице своего гостя бактериолог уловил выражение нездоровой радости. Этот человек только что пришел к нему с рекомендательным письмом от его старого друга и заинтересовал бактериолога, который почувствовал, что он и его гость - люди совсем разного склада. Прямые черные волосы и глубоко посаженные серые глаза незнакомца, осунувшееся лицо и нервные движения, жадный, острый интерес к бациллам - все это было так не похоже на флегматичных, рассудительных ученых, с которыми привык общаться бактериолог. Перед слушателем, интересующимся, очевидно, прежде всего смертоносностью бактерий, естественно было показать дело с самой эффектной стороны.

Задумавшись, бактериолог держал в руке пробирку.

- Да, - проговорил он, - это - холера, посаженная за решетку. Разбейте такую вот пробирку над источником, питающим городской водопровод, скомандуйте этим крошечным живым частичкам - таким крохотным, что их можно рассмотреть только в самый мощный микроскоп, и то окрасив препарат, бактериям без вкуса и запаха, - скомандуйте им: "Вперед! Растите и размножайтесь, наполняйте цистерны!" - и тогда смерть, таинственная и неуловимая, смерть быстрая и ужасная, смерть мучительная и безобразная обрушится на город и начнет рыскать повсюду, отыскивая себе жертвы. Здесь она лишит жену мужа, там отнимет у матери ребенка, оторвет государственного деятеля от его обязанностей, труженика - от его забот. Она будет следовать по путям водопроводных труб, проникая во все улицы, вылавливая и наказывая то в одном, то в другом дом тех, кто пьет сырую воду, она проникнет в чаны фабрикантов минеральной воды, проберется в салат, когда его будут мыть, и притаится в мороженом. Она будет сидеть в кормушках животных и ждать, когда ее проглотят, она будет подкарауливать беспечных ребятишек, которым захочется напиться из уличного фонтана. Она пропитает землю и появится в ручейках и колодцах, в тысяче самых неожиданных мест. Только пустите эту бациллу в водопровод, и, прежде чем мы поймаем и укротим ее, она уничтожит столицу!

Бактериолог внезапно замолчал. Ему не раз указывали на его страсть к риторике.

- Ну, а здесь, видите ли, она совершенно безопасна. Человек с бледным лицом кивнул головой. Глаза его сверкали. Он откашлялся.

- Эти негодяи-анархисты - дураки, - сказал он, - слепые дураки: бросать бомбы, когда есть такая штука! Мне кажется...

В дверь тихонько постучали, скорее даже не постучали, а поцарапали об нее ногтем. Бактериолог открыл дверь.

- На минуточку, милый, - прошептала его жена. Когда он вернулся в лабораторию, посетитель смотрел на часы.

- Я и понятия не имел, что отнял у вас целый час, - сказал он, - сейчас без двенадцати четыре, а мне нужно было уйти в половине четвертого. Но то, что вы мне показывали, было так интересно... Нет, право же, больше я не могу остаться ни на минуту, в четыре у меня важное свидание!

Рассыпаясь в благодарностях, он вышел из комнаты. Бактериолог проводил его до дверей, а затем, задумавшись, вернулся по коридору в лабораторию. Он хотел догадаться, какой национальности его посетитель. Несомненно, не немец, но не похож и на представителя латинских народов. Во всяком случае, в нем есть что-то патологическое, - про себя заметил бактериолог, - как он уставился на эту культуру болезнетворных микробов! Внезапно у него мелькнула тревожная мысль. Он повернулся к скамье возле паровой ванны, затем быстро подошел к письменному столу и стал поспешно шарить в своих карманах, потом бросился к двери.

- Может быть, я оставил ее на столе в передней, - пробормотал он.

- Минни! - хриплым голосом закричал он из передней.

- Да, милый? - отозвался голос из дальней комнаты.

- Когда я только что с тобой разговаривал, милочка, было у меня что-нибудь в руках?

Пауза.

- Нет, милый, ничего не было, потому что я помню...

- Синяя бацилла пропала! - воскликнул бактериолог. Он опрометью кинулся к двери и сбежал по ступеням на улицу.

Услышав стук захлопнувшейся двери, Минни в тревоге кинулась к окну. Она увидела, как на улице какой-то худой человек усаживался в кеб. К нему, неистово размахивая руками, мчался бактериолог без шляпы и в домашних туфлях. Одна туфля упала с ноги, но он не стал терять времени на то, чтобы поднять ее.

- С ума сошел! - воскликнула Минни. - Вот что наделала эта противная наука!

Минни открыла окно и хотела позвать мужа. Худой человек внезапно оглянулся и, по-видимому, тоже подумал, что ученый сошел с ума. Он торопливо показал кебмену на бактериолога и что-то сказал. Щелкнула застежка кожаного фартука, просвистел бич, копыта застучали по мостовой, и в тот же миг кеб и бактериолог, бросившийся за ним следом, понеслись по улице и исчезли за углом.

С минуту Минни стояла, высунувшись из окна, потом вернулась в комнату. Она была совершенно ошеломлена.

"Конечно, муж чудак, - размышляла она, - но все-таки бегать по Лондону в самый разгар сезона в одних носках!.." Ей пришла в голову счастливая мысль. Она быстро надела шляпку, схватила ботинки мужа, выбежала в переднюю, сняла с вешалки его летнее пальто, шляпу и выскочила на улицу. На ее счастье, как раз мимо медленно проезжал кеб, и она его окликнула.

- Везите меня прямо, потом сверните на Хейвлок-кресент и постарайтесь догнать джентльмена без шляпы и в бархатной куртке.

- Бархатная куртка, мэм, и без шляпы? Очень хорошо, мэм!

И кебмен стегнул лошадь с таким решительным видом, точно ему каждый день приходилось ездить по подобным адресам.

Несколько минут спустя кучка кебменов и ротозеев, как всегда собравшаяся у стоянки извозчиков на Хаверсток-хилле, была поражена видом бешено мчавшейся пегой лошаденки, запряженной в кеб.

Все молчали, пока кеб не скрылся из виду, а затем полный джентльмен, известный под кличкой Старого Болтуна, сказал:

- Это Гарри Хикс. Что это с ним стряслось?

- А кнутом-то как работает, зря не машет, - добавил мальчишка конюх.

- Гляди-ка, - воскликнул Томми Байлс, - а вот еще один сумасшедший, разрази меня на этом месте, и впрямь еще один катит!

- Это наш Джордж, - отозвался Старый Болтун, - а везет он сумасшедшего, это ты верно сказал; как бы он не вывалился из кеба! Не за Гарри ли Хиксом он гонится?

Общество на извозчицкой стоянке все больше оживлялось. Кричали хором: "Наддай. Джордж!", "Вот так скачки!", "Ты его догонишь!", "Погоняй!"

- Ишь, как чешет! - сказал мальчишка конюх.

- Голова кругом идет, - воскликнул Старый Болтун, - ей-богу, сейчас сам помчусь! Смотрите, еще один! Никак все кебмены в Хэмпстеде спятили сегодня!

- На этот раз - баба! - сказал мальчишка конюх.

- За ним гонится, - добавил Старый Болтун, - чаще бывает наоборот; он за ней, а не она за ним.

- Что у нее в руках?

- Похоже, что шляпа.

- Вот забава! Ставлю три против одного на старика Джорджа, - предложил мальчишка конюх, - кто следующий?

Минни промчалась мимо. Ее сопровождала буря оваций. Ей это не понравилось, но она сознавала, что исполняет свой долг, и неслась дальше по Хаверсток-хиллу и Кэмдентаун-Хай-стрит, не отрывая глаз от спины старого Джорджа, непонятно почему увозившего от нее беглеца-мужа.

Человек в первом кебе сидел, забившись в угол, скрестив на груди руки и крепко сжимая в кулаке пробирку с могучим средством разрушения. Он испытывал смешанное чувство страха и радостного возбуждения. Больше всего он боялся, что его поймут, прежде чем он успеет осуществить свой замысел, однако в глубине его души был смутный, но еще более сильный страх перед чудовищностью затеянного преступления. И все же радость пересиливала страх.

Ни один анархист еще не додумался до того, что собирался сделать он. Равашоль, Вайан и все эти знаменитые деятели, славе которых он завидовал, бледнели и казались ничтожными по сравнению с ним. Ему надо только добраться до городской водокачки и разбить пробирку над баком. Как блестяще он все подготовил, подделал рекомендательное письмо, проник в лабораторию и так блестяще воспользовался случаем! Наконец-то мир услышит о нем!

Наконец-то всем этим людям, которые над ним смеялись, им пренебрегали, избегали его общества, придется считаться с ним. Смерть, смерть, смерть!

Сколько унижений он вытерпел как человек, не заслуживающий внимания. Весь мир был в заговоре, чтобы не дать ему подняться. Теперь он покажет, что значит не замечать человека! Кажется, эта улица ему знакома. Да, конечно, это улица Сент-Эндрю. А где же его преследователь? Он выглянул из кеба.

Между ним и бактериологом было не больше пятидесяти ярдов. Плохо! Его еще могут нагнать И остановить. Он нащупал в кармане деньги и достал полсоверена. Приподнявшись, он через окошечко в крыше сунул монету под нос кучеру.

- Еще дам, - закричал он, - если сумеете удрать! Мгновенно деньги были выхвачены у него из руки.

- Ладно! - сказал кебмен.

Окошечко захлопнулось, и бич опустился на блестящий бок лошади. Кеб дернуло, и анархист, который еще не успел сесть, ухватился рукой со стеклянной пробиркой за фартук, чтобы не упасть. Он почувствовал, как пробирка сломалась в его руке. Отбитая половинка звякнула о дно кеба. Он выругался, откинулся на сиденье и мрачно поглядел на капли жидкости, упавшие на фартук.

Анархист содрогнулся.

- Ну что ж, кажется, мне придется быть первым. Бр-р, но я по крайней мере стану мучеником. Это уже кое-что! А все-таки ужасная смерть. Так ли она мучительна, как говорят?

Тут у него мелькнула новая мысль. Он пошарил у себя под ногами. В отбитой части пробирки сохранилось немного жидкости, и он для верности выпил ее. Надо было действовать наверняка. Как бы то ни было, неудачи он не потерпит!

Потом он подумал, что теперь ему незачем удирать от бактериолога. На Веллингтон-стрит он велел кучеру остановиться и вышел из кеба. На подножке он поскользнулся, голова у него слегка кружилась. Быстро действует этот холерный яд! Он помахал кебмену, как бы устраняя его из своего бытия, и, скрестив руки на груди, остановился на тротуаре, поджидая бактериолога. В

его позе было что-то трагическое. Сознание близкой гибели придавало его фигуре некоторое достоинство. Он приветствовал бактериолога вызывающим смехом:

- Vive l'Anarchie [Да здравствует анархия! (франц.)]! Опоздали, мой друг! Я выпил ваш препарат. Холера спущена с цепи!

Не выходя из кеба, бактериолог сквозь очки поглядел на него с веселым любопытством:

- Выпили? Анархист? Теперь понятно!

Он хотел было что-то добавить, но воздержался. В углах рта затаилась усмешка. Он отбросил фартук, как будто хотел вылезти из кеба, в то время как анархист драматическим жестом махнул ему на прощанье рукой и пошел к мосту Ватерлоо, стараясь своим зараженным телом толкнуть возможно большее число людей. Бактериолог с таким интересом смотрел ему вслед, что почти не выразил удивления, когда на тротуаре появилась Минни со шляпой, пальто и ботинками.

- Очень мило, что ты принесла мои вещи, - рассеянно заметил он, все еще внимательно следя за удалявшейся фигурой анархиста.

- Садись ко мне, - добавил он, не поворачивая головы.

Минни теперь была совершенно убеждена, что ее муж сошел с ума, и на свою ответственность велела кучеру ехать домой.

- Что? Надеть ботинки? Разумеется, милочка, - сказал бактериолог, когда кеб повернул и скрыл от него торжественную черную фигуру, казавшуюся на расстоянии совсем маленькой.

Вдруг ему что-то показалось таким смешным, что он расхохотался, а потом заметил:

- Это все-таки очень серьезное дело. Понимаешь, этот человек пришел сегодня ко мне, а он - анархист... не падай в обморок, а то я не смогу тебе всего рассказать. Я не знал, что он анархист, хотел удивить его и показал ему культуру этой новой бациллы, о которой я тебе говорил, той самой, которая, я думаю, вызывает появление синих пятен у обезьян разных пород. Я сваял дурака и сказал ему, что это - бацилла азиатской холеры. Он похитил ее и убежал, чтобы отравить воду в Лондоне, и он действительно мог бы наделать много неприятностей нашему цивилизованному городу. А теперь он сам проглотил бациллу. Конечно, я не могу оказать наверное, что с ним случится, но ты помнишь, как котенок и три щенка покрылись от нее синими пятнами, а воробей стал ярко-голубым. Хуже всего то, что мне придется опять возиться и тратить деньги, чтобы приготовить новый препарат.

Что? Надеть пальто в такую жару! Зачем? Потому что мы можем встретить миссис Джеббер? Но, милочка моя, ведь миссис Джеббер не сквозняк. Чего ради я стану в жару надевать пальто из-за миссис... А... ну, ладно!(1894)

УМБЕРТО ЭКО. РАССКАЗ «ОНО»

- Как успехи, Профессор? - Генерал с трудом сдерживал нетерпение.

- Какие успехи? - переспросил Профессор Ка, он явно медлил с ответом.

- Целых пять лет вы работаете здесь внизу, и никто вас ни разу не побеспокоил. Мы доверяем вам. Но сколько же можно верить на слово?! Пора предъявить работу.

В голосе генерала слышалась угроза, и Ка устало махнул рукой, потом улыбнулся:

- Вы попали в точку, Генерал. Я намеревался еще подождать. Но вы меня раззадорили. Я сделал Его, - Профессор перешел на шепот, - и, клянусь Солнцем, пора показать Его миру!

Он жестом пригласил Генерала в пещеру. Ка провел гостя в самую глубину, туда, где сквозь узкое отверстие в стене пробивался тонкий луч

света. Там на ровном и гладком уступе лежало Оно.

По форме Оно напоминало миндальный орех, имело множество мелких граней и блестело.

- Но ведь это... - Генерал растерялся. - Это камень.

В голубых глазах Профессора, спрятанных под густыми косматыми бровями, мелькнули лукавые искорки:

- Да, - подтвердил он. - Камень. Но не такой, как все. Мы не станем попирать его ногами. Лучше возьмем его в руку.

- В руку?

- Именно, Генерал. В этом камне сосредоточена великая сила, о которой до сих пор и не смело мечтать человечество, мощь, равная мощи миллиона людей. Смотрите...

Он положил руку на камень; сжал пальцы и крепко обхватил его, затем поднял. Рука плотно обнимала камень, широкая часть лежала на ладони, а острый конец торчал наружу и смотрел то вверх, то вниз, то на Генерала - в зависимости от движений руки Профессора. Профессор сделал резкий выпад, и конец камня прочертил в воздухе траекторию. Профессор рубанул сверху вниз, на пути острия оказалась хрупкая порода уступа и - о чудо! - камень вошел в нее, врезался, сделал трещину. Профессор ударил еще и еще раз - образовалась выемка, потом глубокая воронка, он дробил, крошил породу, превращал ее в порошок.

Генерал следил широко раскрытыми глазами, затаив дыхание.

- Невероятно, - проговорил он, сглатывая слюну.

- Это что, - торжествовал Профессор, - сущие пустяки! Хотя пальцами вы ничего подобного все равно бы не сделали. Теперь смотрите! - Ученый взял большой кокосовый орех, лежавший в углу, шершавый, крепкий - не подступишься! - и протянул его Генералу:

- Ну же, сожмите обеими руками, раздавите его.

- Перестаньте, Ка, - голос Генерала дрогнул. - Вы прекрасно знаете, что это невозможно, никто из нас не способен сделать этого... Только динозавр - ударом лапы, и только динозавр лакомится мякотью и пьет сок...

- Хорошо, а теперь, - Профессор пришел в возбуждение, - а теперь смотрите!

Он взял орех, положил на уступ в только что выбитую выемку, и схватил камень, но по-другому, за острый конец, так, что широкая часть оказалась снаружи. Потом быстро ударил по ореху - казалось, без большого усилия - и разбил его вдребезги. Кокосовое молоко растеклось по уступу, а в углублении остались куски скорлупы с белой сочной мякотью, свежей и аппетитной. Генерал схватил кусок и с жадностью впился в него зубами. Он смотрел на камень, на Ка, на остатки кокосового ореха. Он был ошеломлен.

- Клянусь Солнцем, Ка! Это замечательная вещь. Сила человека возросла в сотни раз, теперь ему не страшен никакой динозавр. Он стал хозяином скалы и деревьев. У него появилась еще одна рука, да что я говорю... сотня рук! Где вы нашли Его.

Ка самодовольно усмехнулся:

- Я не нашел Его. Я Его сделал.

- Сделали? Что вы хотите этим сказать?

- Это значит, что раньше Его не существовало.

- Вы сошли с ума, Ка, - генерал задрожал. - Должно быть, Оно упало с неба; наверное, Его принес гонец Солнца, один из духов воздуха... Как можно сделать то, чего раньше не существовало?!

- Можно! - твердо сказал Ка. - Можно взять камень и бить по нему другим камнем, пока не придашь нужную форму, такую, чтобы рука могла обхватить его. И тогда с помощью этого камня рука сможет сделать множество других камней, больших по размеру и еще более острых. И это сделал я, Генерал.

Крупные капли пота выступили на лбу Генерала.

- Надо показать Его всем, Ка, всей Орде, наши мужчины станут неуязвимыми. Понимаете? Теперь мы можем выйти на медведя: у него когти, а у нас Оно, мы сумеем растерзать зверя раньше, чем он нас, мы сможем оглушить его, убить. Убить змею, расколоть панцирь черепахи, можем убить... Великое Солнце!.. убить... человека!.. - Генерал остановился, пораженный новой мыслью, потом продолжал, и взгляд его стал жестким:

- Теперь, Ка, мы сможем напасть на Орду Коамма, они выше и сильнее нас, но теперь окажутся в нашей власти, и мы уничтожим их всех до единого. Ка! Ка! - он схватил Профессора за плечо и потряс. - Это победа!

Ка смотрел настороженно, он колебался:

- Именно поэтому я не хотел показывать вам мое изобретение. Я понимаю, что сделал ужасное открытие, которое изменит мир. Я осознаю свою ответственность: я открыл источник страшной разрушительной силы. Ничего подобного на Земле еще не знали, поэтому я и не хочу, чтобы другие познакомились с ним. В противном случае война станет самоубийством. Ведь и Орда Коамма тоже скоро научится делать подобные камни, тогда в следующей войне не будет ни победителей, ни побежденных. Этот предмет был задуман как орудие мирного труда, прогресса, но теперь я вижу, что Оно несет с собой смерть. Я Его уничтожу.

Генерал был вне себя:

- Опомнитесь, Ка! Вы не имеете права. Это все глупая щепетильность ученого. Пять лет вы провели взаперти и ничего не знаете о мире. Мы идем к цивилизации, и если Орда Коамма победит, не останется ни мира, ни свободы, ни радости для людей. Наш священный долг овладеть вашим изобретением. Это вовсе не значит, что мы воспользуемся им тотчас же. Важно, чтобы они знали, что Оно у нас есть. Мы продемонстрируем Его на глазах у противника. Потом мы ограничим Его использование, но с того момента, как Оно будет у

нас, никто не посмеет на нас напасть. А пока мы можем копать Им могилы, строить новые пещеры, равнять почву. Достаточно иметь Его, вовсе не обязательно пускать Его в ход. Это оружие страшной силы, оно остановит коаммовцев на много лет.

- Нет-нет-нет, - твердил безутешный Ка, - как только мы овладеем Им, нас уже ничто не остановит. Его надо уничтожить.

- Да вы просто идиот, хоть и приносите пользу! - Генерал побледнел от гнева. - Вы играете на руку нашим врагам, в душе вы прокоаммовец, как и все подобные вам интеллектуалы, как тот аэд, который толковал вчера вечером о союзе всех людей. Вы не веруете в Солнце!

Ка вздрогнул. Он склонил голову, глаза под пушистыми бровями стали совсем маленькими и грустными.

- Я знал, что мы придем к этому. Я не прокоаммовец, и вам это отлично известно. Но согласно пятому правилу из солнечного свода законов, я отказываюсь на вопрос, который мог бы вызвать против меня гнев духов. Думайте, что хотите. Но Оно не выйдет за порог этой пещеры.

- А я говорю - выйдет, и сейчас же, во славу Орды, цивилизации, ради блага народа, ради Мира! - закричал Генерал. Он схватил камень правой рукой, как это только что делал сам Ка, и с силой, с гневом, с ненавистью обрушил его на голову Профессора. Ка рухнул на пол, орошая кровью все вокруг.

Генерал в ужасе смотрел на оружие, которое сжимал в руке. Потом торжествующе улыбнулся, и в улыбке его была жестокость, была беспощадность.

- Первый... - прошептал он.

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ.
ПОЭМА «ПЕСНЯ ПРО КУПЦА КАЛАШНИКОВА» (1837)

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твоего любимого опричника,
Да про смелого купца, про Калашникова:
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гуслирный звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолицая
Поднесла нам на блюде серебряном
Полотенцо новое, шелком шитое.
Угощали нас три дни, три ночи,
И всё слушали – не наслушались.

I

Не сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.
Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,
По бокам его всё опричники;
И пирует царь во славу божию,
В удовольствие свое и веселие.
Улыбаясь, царь повелел тогда

Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш
И поднести его опричникам.
– И все пили, царя славили.
Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов;
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку грудь –
А в груди его была дума крепкая.
Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На младого голубя сизокрылого, –
Да не поднял глаз молодой боец.
Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником –
Да не вздрогнул и тут молодой боец.
Вот промолвил царь слово грозное, –
И очнулся тогда добрый молодец.
«Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила?
Когда всходит месяц – звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднёбесью;
А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает...
Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушались;
А из роду ты ведь Скуратовых

И семьею ты вскормлен Малютиной!...»
Отвечает так Кирибеевич,
Царю грозному в пояс кланяясь:
«Государь ты наш, Иван Васильевич!
Не кори ты раба недостойного:
Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную – не запотчевать!
А прогневал я тебя – воля царская;
Прикажи казнить, рубить голову,
Тяготит она плечи богатырские,
И сама к сырой земле она клонится».
И сказал ему царь Иван Васильевич:
«Да об чем тебе молодцу кручиниться?
Не истерся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Или конь захромал, худо кованный?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий?»
Отвечает так Кирибеевич,
Покачав головою кудрявою:
«Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом;
Аргамак мой степной ходит весело;
Как стекло, горит сабля вострая,
А на праздничный день твоей милостью
Мы не хуже другого нарядимся.
«Как я сяду поеду на лихом коне
За Москву-реку покатаются,
Кушачком подтянуса шелковым,
Заломлю на бочок шапку бархатную,

Черным соболем отороченную, –
У ворот стоят у тесовых
Красны девушки да молодушки,
И любят, глядя, перешептываясь;
Лишь одна не глядит, не любит,
Полосатой фатой закрывается...
«На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно – будто лебедушка;
Смотрит сладко – как голубушка;
Молвит слово – соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе божем;
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою целуются.
Во семье родилась она купеческой,
Прозывается Алёной Дмитриевной.
«Как увижу ее, я и сам не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачаются очи бойкие;
Скучно, грустно мне, православный царь,
Одному по свету маяться.
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчевые,
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь теперь?
Перед кем покажу удалство свое?
Перед кем я нарядом похвастаюсь?
Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.

Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельцо браное черкасское.
Мои очи слезные коршун выключет,
Мои кости сырые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах
На четыре стороны развеется...»
И сказал смеясь Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! Я твоей беде,
Твоему горю пособить постараюсь.
Вот возьми перстенок ты мой яхонтовый,
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленной поклоняйся
И пошли дары драгоценные
Ты своей Алёне Дмитриевне:
Как полюбишься – праздную свадьбу,
Не полюбишься – не прогневайся».
Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви божией перевенчана,
Первенчана с молодым купцом
По закону нашему христианскому...

*

Ай, ребята, пойте – только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте – дело разумеите!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

II

За прилавкою сидит молодой купец,
Статный молодец Степан Парамонович,
По прозванию Калашников;
Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой гостей он заманивает,
Злато, серебро пересчитывает.
Да недобрый день задался ему:
Ходят мимо баре богатые,
В его лавочку не заглядывают.
Отзвонили вечерню во святых церквах;
За Кремлем горит заря туманная,
Набегают тучки на небо, –
Гонит их метелица распеваючи;
Опустел широкий гостиный двор.
Запирает Степан Парамонович
Свою лавочку дверью дубовую
Да замком немецким со пружиною;
Злого пса-ворчуна зубастого
На железную цепь привязывает,
И пошел он домой, призадумавшись,
К молодой хозяйке за Москву-реку.
И приходит он в свой высокий дом,
И дивится Степан Парамонович:
Не встречает его молода жена,
Не накрыт дубовый стол белой скатертью,
А свеча перед образом еле теплится.
И кличет он старую работницу:
«Ты скажи, скажи, Еремеевна,
А куда девалась, затаилась
В такой поздний час Алёна Дмитриевна?
А что детки мои любезные –

Чай забегались, заигрались,
Спозаранку спать уложились?»
«Господин ты мой, Степан Парамонович!
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алёна Дмитревна;
Вот уж поп прошел с молодой попадъей,
Засветили свечу, сели ужинать, –
А по сю пору твоя хозяйюшка
Из приходской церкви не вернулася.
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть пошли –
Плачем плачут, всё не унимаются».
И смутился тогда думой крепкою
Молодой купец Калашников;
И он стал к окну, глядит на улицу –
А на улице ночь темнехонька;
Валит белый снег, расстилается,
Заметает след человеческий.
Вот он слышит в сенях дверью хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит – сила крестная!
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрят очи мутные, как безумные;
Уста шепчут речи непонятные.
«Уж ты где, жена, жена, шаталася?
На каком подворье, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одёжа вся твоя изорвана?
Уж гуляла ты, пиновала ты,

Чай, с сынками всё боярскими?..
Не на то пред святыми иконами
Мы с тобой, жена, обручались,
Золотыми кольцами менялися!..
Как запрю я тебя за железный замок,
За дубовую дверь окованную,
Чтобы свету божьего ты не видела,
Мое имя честное не порочила...»
И услышав то, Алёна Дмитриевна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась, как листочек осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
В ноги мужу повалилася.
«Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня или выслушай!
Твои речи – будто острый нож;
От них сердце разрывается.
Не боюсь смерти лютыя,
Не боюсь я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.
«От вечерни домой шла я нонече
Вдоль по улице одинёшенька.
И послышалось мне, будто снег хрустит;
Оглянулася – человек бежит.
Мои ноженьки подкосилися,
Шелковой фатой я закрылася.
И он сильно схватил меня за руки,
И сказал мне так тихим шепотом:
„Что пужаешься, красная красавица?
Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного.
Прозываюся Кирибеевичем,

А из славной семьи из Малютиной...“
Испугалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня целовать-ласкать,
И цалуя всё приговаривал:
„Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи?
Как царицу я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать,
Лишь не дай мне умереть смертью грешною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!“
«И ласкал он меня, целовал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцалуи его окаянные...
А смотрели в калитку соседушки,
Смеючись, на нас пальцем показывали...
«Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бросилась,
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок – твой подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня,
Меня честную, непорочную –
И что скажут злые соседушки?
И кому на глаза покажусь теперь?
«Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!
На кого, кроме тебя, мне надеяться?

У кого просить стану помощи?
На белом свете я сиротинушка:
Родной батюшка уж в сырой земле,
Рядом с ним лежит моя матушка,
А мой старший брат, сам ты ведаешь,
На чужой сторонущке пропал без вести,
А меньшей мой брат – дитя малое,
Дитя малое, неразумное...»
Говорила так Алёна Дмитриевна,
Горючьми слезами заливалася.
Посылает Степан Парамонович
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонилися,
И такое слово ему молвили:
«Ты поведай нам, старшой наш брат,
Что с тобой случилось, приключилося,
Что послал ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь морозную?»
«Я скажу вам, братцы любезные,
Что лиха беда со мною приключилася:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибеевич;
А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецкому.
Уж как завтра будет кулачный бой
На Москве-реке при самом царе,
И я выйду тогда на опричника,
Буду на́ смерть биться, до последних сил;
А побьет он меня – выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежэй силою,

На вас меньше грехов накопилось,
Так авось господь вас помилует!»
И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднёбесьи,
Туда мчатся и тучки послушные,
Когда сизый орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются:
Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя родного не выдадим».

*

Ай, ребята, пойте – только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте – дело разумеите!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

III

Над Москвой великой, златолавою,
Над стеной кремлевской белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальцо,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?
Как сходились, собирались
Удалые бойцы московские

На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в 25 сажень,
Для охотничьего бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит,
А кто будет побит, тому бог простит!»
И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бархатную,
Подпершился в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника...
Трижды громкий клич прокликали –
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.
На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели, небойсь, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего батюшку».
Вдруг толпа раздалась в обе стороны –
И выходит Степан Парамонович,

Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников,
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрят пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.
И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого роду, племени,
Каким именем прозываешься?
Чтобы знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем и похвастаться».
Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честнова отца,
И жил я по закону господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного...
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже, как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируячи...
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, бусурманский сын,
Вышел я на страшный бой, на последний бой!»

И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег:
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло...
Вот молча оба расходятся,
Богатырский бой начинается.
Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервой купца Калашникова,
И ударил его посередь груди –
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева,
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.
И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал за́мертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
И, увидев то, царь Иван Васильевич
Прогневался гневом, топнул о землю
И нахмурил брови черные;

Повелел он схватить удалова купца
И привести его пред лицо свое.
Как возгóворил православный царь:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя
Ты убил насмерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?»
«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что про что – не скажу тебе,
Скажу только богу единому.
Прикажи меня казнить – и на плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову,
Да двух братьев моих своей милостью...»
«Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, беспошлинно.
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-наострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...»

Как на площади народ собирается,
Заунывный гудит-воет колокол,
Разглашает всюду весть недобрую.
По высокому месту лобному,
Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором наостренным,
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает,
Удалова бойца дожидается,
А лихой боец, молодой купец,
Со родными братьями прощается:
«Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуемтесь да обнимемтесь
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алёне Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать.
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всем нашим товарищам,
Помолитесь сами в церкви божией
Вы за душу мою, душу грешную!»
И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
Во крови на плаху покатила.
Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех дорог:
Промеж тульской, рязанской, владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили.
И гуляют, шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою.

И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек – перекрестится,
Пройдет молодец – приосанится,
Пройдет девица – пригорюнится,
А пройдут гусяры – споют песенку.
*

Гей вы, ребята удалые,
Гусяры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали – красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.
Тароватому боярину слава!
И красавице-боярыне слава!
И всему народу христианскому слава!

МАКСИМ ГОРЬКИЙ. РАССКАЗ «ЧЕЛКАШ»

Потемневшее от пыли голубое южное небо -- мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, паровых винтов, острыми киями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки паровых судов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат -- все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, -- к ним вздымаются с земли все новые и новые волны звуков -- то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, -- рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди -- все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудями товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, - машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, -- в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум -- подавлял, пыль, раздражая ноздри, -- слепила глаза, зной -- пек тело и изнурял его, и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышной. Это -- наступило время обеда.

I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговки разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках, -- появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубашке с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклоченным черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

- Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.
- Ну? -- спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.

-- Чего -- ну? Ищут, мол. Больше ничего.

-- Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать? И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгауз Добровольного флота.

-- Пошел к черту! Товарищ повернул назад.

-- Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

-- Давно не видал! -- крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

-- Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, тарщило глаза и было очень смешно.

-- Сказано тебе -- в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? - грозно кричал сторож.

-- Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались, -- спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

-- Хоть бы век тебя не видать! Иди, иди!.. Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

-- Вот что скажи, -- продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и приятельски-фамильярно потряхивая ее, -- ты Мишку не видал?

-- Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

-- Рыжего, с которым я прошлый раз работал на "Костроме", -- стоял на своем Челкаш.

-- С которым воруеть вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдало чугунной штыкой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

-- Ага, ишь ты! а ты говоришь -- не знаю Мишки... Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?..

-- Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!.. Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно поглядывал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

-- Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой в досталь и уйду. Ну, рассказывай, как живешь?.. жена, детки -- здоровы? -- И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: -- В гости к тебе собираюсь, да все времени нет -- пью все вот...

-- Ну, ну, -- ты это брось! Ты, -- не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

-- Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семеныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

-- Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! -- крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

-- Я -- босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не напороть, - ответил Челкаш.

Подожли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной суতোлке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился товарищ, Мишка, -- он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной рубаше, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русский, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: "Ах, чудак!" -- и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

-- Что, брат, погулял, видно, здорово!.. -- обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

-- Было дело, сосунок, было этакое дело! -- улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. -- С косовицы, что ли?

-- Как же!.. Косили версту -- выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду - уйма! Голодающий этот самый приплелся, -- цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

-- Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека там тръшну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу -- русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и -- получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

-- Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

-- Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

-- Поди ты!.. -- махнул рукой парень. -- Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

-- Я-то? -- переспросил Челкаш и, подумав, сказал: -- Рыбак я...

-- Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

-- Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда -- все! Удочки такие есть для этого...

-- Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидывали сети

По сухим берегам

Да по амбарам, по клетям!..

-- А ты видал таких? -- спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

-- Нет, видать где же! Слыхал...

-- Нравятся?

-- Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

-- А что тебе -- свобода?.. Ты разве любишь свободу?

-- Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел -- куда хошь, делай -- что хошь... Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, -- первое дело! Гуляй знай, как хошь, бога только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

-- Сейчас вот мое дело... -- говорил тот. -- Отец у меня -- умер, хозяйство -- малое, мать-старуха, земля высосана, -- что я должен делать? Жить -- надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятя в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь -- тещь-дьявол не

выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заработать, сейчас бы я на ноги встал и -- Антипу-то -- на-кося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! -- Парень вздохнул. -- А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятя идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублей два ста тяпну, -- шабаш! барин!.. АН не выгорело. Ну и пойдешь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятя. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

-- Теперь куда ж ты?

-- Да ведь -- куда? известно, домой.

-- Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался.

-- В Ту-урцию!.. -- протянул парень. -- Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!..

-- Экой ты дурак! -- вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил...

Смутно, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

-- Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? -- начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

-- Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

-- Чего работать? -- недоверчиво спросил парень.

-- Ну, чего!.. Чего заставляю... Рыбу ловить поедем. Грести будешь...

-- Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... темен ты...

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

-- А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

-- Ну? -- сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятя зажиточный мужик, -- за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашем, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

-- Ведь я... не прочь... -- заговорил он. -- Работы ведь и ищу. Мне все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, -- больно уж тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да еще и не таких, как ты.

-- Ну, ладно, ладно! Согласен? -- уже мягче переспросил Челкаш.

-- Я-то? Аида!.. с моим удовольствием! Говори цену.

-- Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

-- Это мне не рука, брат! Челкаш вошел в роль:

-- Не толкуй, погоди! Идем в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш -- с важной миной хозяина, покручивая усы, парень -- с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

-- А как тебя звать? -- спросил Челкаш.

-- Гаврилом! -- ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая заказал бутылку водки, шей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику:

"В долг все!" -- на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважения к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

-- Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру...

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который -- славный человек! -- так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

-- Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..

-- Друг!.. -- лепетал Гаврила. -- Не бойсь! я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..

-- Ну, ну!.. На, еще клюкни!

Гаврила пил и дошел наконец до того, что у него в глазах все стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

-- Ну-ка, идем! -- сказал Челкаш, вставая. Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

-- Развезло! -- молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испить ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно -- нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

II

-- Ну, готов? -- вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами.

-- Сейчас! Уключина вот шатается, -- можно разок вдарить веслом?

-- Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь от борта судов о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

-- Едем! -- сказал Гаврила, спуская весла в воду.

-- Есть! -- Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, -- длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

-- Ну, что голова? болит? -- ласково спросил Челкаш.

-- Страсть!.. как чугун гудит... Намочу ее водой сейчас.

-- Зачем? Ты на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, -- и он протянул Гавриле бутылку.

-- Ой ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

-- Эй ты! рад?.. Будет! -- остановил его Челкаш. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертась среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и море -- бесконечное, могучее -- развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков -- лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно вползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей -- разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

-- Хорошо море? -- спросил Челкаш.

-- Ничего! Только боязно в нем, -- ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел и все блестела теплым голубым светом фосфора.

-- Боязно! Экая дура!.. -- насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желанием ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, -- охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют -- первые -- остроту, вторая -- цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты...

-- А снасть-то где? -- вдруг спросил Гаврила, беспокожно оглядывая лодку. Челкаш вздрогнул.

-- Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

-- Ты вот что -- сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и гребь. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокожно завозился на скамье.

-- Гребь!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

-- Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

-- Кто кричит? -- раздался с моря суровый окрик.

-- Ну, дьявол, гребь же!.. тише!.. убью, собаку!.. Ну же, гребь!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. -- шипел Челкаш.

-- Богородице... дево... -- шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

-- Эй! кто орет? -- донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

-- Сам ты и орешь! -- сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву:

-- Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами -- конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу -- к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился:

-- Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

-- Какие дела? -- сурово спросил Челкаш. -- А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

-- Темные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?.. а?.. Милый...

-- Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? -- ну и молчи!

-- Господи! -- вздохнул Гаврила.

-- Ну-ну!.. куксись у меня! -- оборвал его Челкаш. Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами.

-- Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем -- молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

-- Эхма!.. -- безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: -- Судьбина моя пропащая!..

-- Не ной! -- внушительно шепнул Челкаш. Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапты.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

-- Стой! -- шепнул Челкаш. -- Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тише, черт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей на камне слизи.

-- Стой!.. Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь -- на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, -- какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-

то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашем; он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась все зловещей... Но вот за стеной мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет...

-- Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. -- раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

-- Устал? -- спросил он.

-- Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там -- получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?

-- Н-нету! -- Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

-- Эй! -- усмехаясь, тихо заговорил он. -- Что, здорово ты перепугался? а?

-- Н-ничего!.. -- выдохнул Гаврила и крикнул.

-- Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти... Отдохни-ка...

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

-- Ну, гребь тише, чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы серьезные... Как раз из ружья пошालить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море -- тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

-- Эх, кабы дождь пошел! -- прошептал Челкаш. -- Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания - баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

-- Кордоны!.. -- чуть слышно шепнул Челкаш. С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет, -- кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматриванья тьмы, из которой -- он ждал -- вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: "Стой, воры!.."

Теперь, когда Челкаш шепнул "кордоны!", Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, -- он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот, -- но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

... Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой, голубой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, -- поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды... Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

-- Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, черт, и себя и меня! Ну!..

И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустил на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку.

-- Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, черт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь -- только и всего. Тише веслами!.. Кислый черт!.. За контрабандой это следят. Нас не заденут -- далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы... -- Челкаш торжественно оглянулся кругом. - Кончено, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеросовая!..

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем -- он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали наконец из него все человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную Думу.

-- Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь тебя как -- точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

-- Я слышу, -- тихо сказал он.

-- То-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я -- на весла, устал, поди!

Гаврила машинально переменял место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

-- Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

-- Мне -- ничего не надо. Только на берег бы... Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, -- и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

-- Ну, скажи мне, -- заговорил Челкаш, -- придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку?

-- Какой уж смак! -- робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

-- Правее держи! -- сказал Челкаш. -- Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работка важная! Вот видишь как?.. Ночь одна -- и полтысячи я тяпнул!

-- Полтысячи?! -- недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: -- А это что же будет за вещь?

-- Это -- дорогая вещь. Все-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

-- Н-да-а?.. -- вопросительно протянул Гаврила. -- Кабы мне так-то вот! - вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи... - Эх, важно бы!.. -- грустно вздохнул он.

-- Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугушке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгροхал -- ну, для дома денег, положим, маловато...

-- Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

-- Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

-- Лошадь? Она и есть, да больно стара, черт.

-- Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?

-- Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!

-- Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо... Отец-то был из первых богатеев в селе...

Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, - он постепенно увлекся и вместо того, чтобы спрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

-- Главное в крестьянской жизни -- это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом -- грош ему цена -- да он твой. У тебя земля своя -- и того ее горсть -- да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к тебе... Так ли? - воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел перед собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

-- Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие -- самолюбие бесшабашного удальца -- бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

-- Замолот!.. -- сказал он свирепо, -- ты, может, думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!

-- Да чудак человек!.. -- снова оробел Гаврила. -- Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, -- много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающих...

-- Садись, тюлень, в весла! -- кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменились местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашем быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца -- рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда...

Челкаш чувствовал себя овеванным примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

-- Эй! а куда же мы едем? -- спросил вдруг Гаврила. Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

- Ишь черт занес!.. Гребни-ка погуще...
- Задумался? -- улыбаясь, спросил Гаврила.
- Устал...
- Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? -- Гаврила ткнул ногой в тюки.
- Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... Н-да!
- Пять сотен?
- Не меньше.
- Это, тово, -- сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..
- По крестьянству?
- Никак больше! Сейчас бы...

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стусеванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высывавшемуся из воды.

Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

-- Стой! Тише! -- скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

-- Спят, что ли, черти?.. -- ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. -- Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

-- Селкаш это? -- раздалось сверху ласковое мурлыканье.

-- Ну, спускай трап!

-- Калимера, Селкаш!

-- Спускай трап, копченый дьявол! -- взревел Челкаш.

-- О, сердытый пришел сегодня... Элоу!

-- Лезь, Гаврила! -- обратился Челкаш к товарищу. В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

-- Припаси к утру деньги, -- коротко сказал ему Челкаш. -- А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

-- Спать бы... -- ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок, и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

-- Эй, теленок, вставай!.. -- толкнул он ногой Гаврилу. Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

-- Ишь ты какой!.. -- широко улыбнулся наконец Гаврила. -- Барином стал!

-- У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

-- Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

-- Ну, а еще раз поехал бы? а?

-- Еще?.. Да ведь это -- как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

-- Ну ежели бы две радужных?

-- Два ста рублей, значит? Ничего... Это можно...

-- Стой! А как душу-то загубишь?..

-- Да ведь, может... и не загубишь! -- улыбнулся Гаврила. -- Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься. Челкаш весело хохотал.

-- Ну, ладно! будет шутики шутить. Едем на берег... И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые, соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево -- целый лес мачт и белые груды домов

города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

-- Эх, разыграется к вечеру-то добре! -- кивнул Челкаш головой на море.

-- Буря? -- спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

-- Эге!.. -- подтвердил Челкаш. Гаврила пытливо посмотрел на него...

-- Ну, сколько ж тебе дали? -- спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.

-- Вот! -- сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана.

Гаврила увидел пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

-- Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это -- сколько?

-- Пятьсот сорок!

-- Л-ловко!.. -- прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. -- Э-эх-ма!.. Кабы этикие деньги!.. -- И он угнетенно вздохнул.

-- Гульнем мы с тобой, парнюга! -- с восхищением вскрикнул Челкаш. -- Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделю... Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

-- Коли не обидно тебе -- что же? Я приму! Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

-- Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурился, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

-- А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... - задумчиво сказал Челкаш.

-- Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. -- воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

-- Приехали! -- прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

-- Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой -- прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

-- Нет... я... не пойду... я... -- Гаврила задыхался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

-- Что это тебя корчит? -- спросил он.

-- Так... -- Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

-- Ну тя к черту! -- махнул рукой Челкаш. -- Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али расставанье со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

-- Уходишь?! -- звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:

-- Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?.. Ведь в одну ночь -- только в ночь... А мне -- года нужны... Дай -- молиться за тебя буду! Вечно -- в трех церквах -- о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы -- в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна -- и богат! Сделай доброе дело! Пропаший ведь ты... Нет тебе пути... А я бы -- ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно тарасил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

-- На! Жри... -- крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

-- Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь - нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаете!..

-- Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. -- визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. -- Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям закажу -- молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он -- вор, гуляка, оторванный от всего родного -- никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

-- Осчастливил ты меня! -- кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался:

-- Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его -- тебя - веслом... рраз!.. денежки -- себе, его -- в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться -- как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

-- Дай сюда деньги!.. -- рывкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два, -- другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи -- и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

-- Что, счастлив ты? -- сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

-- Рраз!..

Челкаш крякнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с него и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды - сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к

Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

-- Брат, встань-кось! -- шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

-- Поди прочь!..

-- Брат! Прости!.. дьявол это меня... -- дрожа, шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

-- Иди... Ступай... -- хрипел тот.

-- Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

-- Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! -- вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. -- Чего тебе еще? Сделал свое дело... иди! Пошел! -- И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

-- Тьфу! -- плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

-- Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

-- Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. -- презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. -- Деньги взял? -- сквозь зубы процедил он.

-- Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!.. Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

-- Возьми и ступай!

-- Не возьму, брат... Не могу! Прости!

-- Бери, говорю!.. -- взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

-- Прости!.. Тогда возьму... -- робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

-- Врешь, возьмешь, гнус! -- уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

-- Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет.

Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

-- Брат! а простишь меня? Не хошь? а? -- слезливо спросил он.

-- Родимой!.. -- в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. -- За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

-- Эх, брат, брат!.. -- скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно.

Два человека помолчали.

-- Ну прощай! -- насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

-- Прости, брат!.. -- еще раз попросил Гаврила.

-- Ничего! -- холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду и землю... ветер ревел... Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми. (1895)

МИХАИЛ ШОЛОХОВ. РАССКАЗ « РОДИНКА»

I

На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона сидит. Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе,- анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупно рассказывает: Кошевой Николай. Командир эскадрона. Землероб. Член РКСМ.

Против графы «возраст» карандаш медленно выводит: 18 лет.

Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых п спина, по-стариковски сутулая,- мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая, говорят шутя в эскадроне,- а подошщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистной графы «возраст» карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он — казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

— За гриву держись, сынок! — кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям, неизмеримую отвагу и родинку, такую же, как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на Врангеля. Летом нонешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженную голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине:

— Ты того... того... Ты счастли... счастливый! Ну да, счастливый! Родинка — это, говорят, счастье.

Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:

— Брешешь ты, чудак! Я с мальства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он — счастье!..

И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон.

II

Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату.

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цибарки вызванивают струи молока.

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:

— Командир дома?

Приподнялся на локтях Николка.

— Вот он я! Ну, чего там еще?

— Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла...

— Веди его сюда.

Тянет нарочный к конюшне лошадь, потом горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом — на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояло три креста и с пакетом этим скакал сорок верст, не передыхая, нарочный.

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадронном на подмогу, и в горницу пошел, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда... Военком стыдит: мол, слова правильно не напишешь, а еще эскадронный... Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он... А тут банда... Опять кровь, а я уж умерялся так жить... Опостылело все...»

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утопанному шляху, мчались: «В город бы уехать... Учиться б...»

Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.

III

По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведет атаман банду — полсотни казаков донских и кубанских, властью Советской недовольных. Трое суток, как набелившийся волк от овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ним вназирку — отряд Николки Кошевого.

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман: на стременах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона.

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николая Кошевого следы топчет.

Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колыхается хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы-гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти.

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, а на гербе казаков Области Войска Донского, должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские, султанистые, и — банда.

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, кан летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги {Музга — озерко, болотце.} степной. Боль, чудная и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет — дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощекие жалмерки до хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.

IV

Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки.

С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышинный выводок; поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми: под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, и бороду мочалистую помял задумчиво.

На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной, клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хатенку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница...

А когда проснулся — из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:

— Иди сюда, дед!

Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших не спрашаючи корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.

— Живей ходи, старый хрен!

Промеж ульев долбленых двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.

— Мы — красные, дедок... Ты нас не бойся,- миролюбиво просипел атаман. Мы за бандой гоняемся, от своих отбились... Может, видел вчера отряд тут проходил?

— Были какие-то.

— Куда они пошли, дедушка?

— А холера их ведает!

— У тебя на мельнице никто из них не остался?

— Нетути,- сказал Лукич коротко и повернулся спиной.

— Погоди, старик.- Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал: — Мы, дед, коммунистов ликвидируем... Так-то!.. А кто мы есть, не твоего ума дело! — Споткнулся, повод роняя из рук.- Твое дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать... Чтобы в два счета!.. Понял? Где у тебя зерно?

— Нетути,- сказал Лукич, поглядывая в сторону.

— А в этом амбаре что?

— Хлам, стало быть, разный... Нетути зерна!

— А ну, пойдём!

Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амбару кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах пшеница и чернобылый ячмень.

— Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?

— Зерно, кормилец... Отмол это... Год я его по зернушку собирал, а ты конями потравить норовишь...

— По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же это — за красных стоишь, смерть выпрашиваешь?

— Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня? — Шапчонку сдернул Лукич, на колени шмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя...

— Говори: красные тебе любы?

— Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня,- голосил старик, ноги атамановы обнимая.

— Божись, что ты не за красных стоишь... Да ты не крестись, а землю ешь!..

Ртом беззубым жуёт песок из пригоршней дед и слешами его подмачивает.

— Ну, теперь верю. Вставай, старый!

И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном.

V

Заря в тумане, в мокрети мгlistой.

Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме.

До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.

— Кто идет? — окрик тревожный в тишине.

— Я это...- шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.

— Кто такой? Что — пропуск? По каким делам шляешься?

— Мельник я... С водянки тугошней. По надобностям в хутор иду.

— Каки-таки надобности? А ну, пойдем к командиру! Вперед иди... крикнул один, наезжая лошадюю.

На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменял в хутор.

На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо.

— За мной иди!..

В окнах огонек маячит. Вошли.

Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.

— Старика вот задержали. В хутор правился.

Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и нерьях, спросил сонно, но строго:

— Куда шел?

Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся.

— Родимый, свои это, а я думал — опять супостатники энти... Заробел дюже и спросить побоялся... Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил... Аль запомятовал?..

— Ну, что скажешь?

— А то скажу, любезный мой: вчерась затемно наехали ко мне банды оти самые и зерно начисто стравили коням!.. Смывались надо мною... Старший ихний говорят: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.

— А сейчас они где?

— Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибег доложить ваишей милости, может, хоть вы на них какую управу сыщете.

— Скажи, чтоб седлали!..- С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.

VI

Рассвело.

Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке.

— Как пойдем в атаку — лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить!

И поскакал к развернутому эскадрону.

За кучей чахлах дубков на шляху показались конные — по четыре в ряд, тачанки в середине.

— Наметом! — крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.

У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпалась.

х х х

Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, утнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.

Тук! — падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало: так!

И опять часто: уук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так! так! так!..

Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянув в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной кути...

— Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску... К перелеску, в кровину мать! — кричал атаман, привстав на стременах.

А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая построшки, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.

Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

— Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахую!..

Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженой восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебежал к атаману ближе, ближе...

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает»,-обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя...

Чернея, крикнул:

— Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнувшие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело... Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...

х х х

А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон стремян, с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, поосеннему бесцветном небе. (1924)

ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. РАССКАЗ «ОН УБИЛ МОЮ СОБАКУ»

— Можно войти?

— Войди... Как твоя фамилия?

— Я Таборка.

— А как тебя зовут?

— Табором.

— Имя у тебя есть?

— Есть... Саша. Но зовут меня Табором.

Он стоял на пороге директорского кабинета, и руку ему оттягивал большой чёрный портфель в белых трещинках. Кожаная ручка оторвана, держится на одном ушке, и портфель достаёт почти до полу.

Если не считать старого, облезлого портфеля, то в наружности Таборки не было ничего

примечательного. Круглое лицо. Круглые глаза. Небольшой круглый рот. Не за что зацепиться взгляду.

Директор школы оглядывал мальчика и мучительно пытался вспомнить, за какие грехи вызван к нему этот очередной посетитель.

Разбил лампочку или заехал кому-нибудь в нос? Разве всё запомнишь.

— Подойди сюда и сядь... Не на кончик стула, а как следует. И не грызи ногти... Что у тебя за история?

Мальчик перестал грызть ногти, и его круглые глаза посмотрели на директора. Директор длинный и худой. Он занимает полкресла. А вторая половина свободна. Руки, тоже длинные и худые, лежат на столе. Когда директор сгибает руку в локте, она становится похожей на большой циркуль, которым рисуют на доске окружности. Таборка посмотрел на директора и спросил:

— Это вы про собаку?

— Про собаку.

Мальчик устался в одну точку: в угол, где висели плащ и коричневая шляпа.

— Я боялся, что с ней что-нибудь случится, и привёл её в школу. В живой уголок. Туда берут ужей и золотых рыбок. А собаку не взяли. Что она, глупее этих ужей?

Он проглотил слюну и с укором сказал:

— А собака — млекопитающее.

Директор откинулся на спинку кресла и пятернёй, как гребёнкой, провёл по тёмным густым волосам.

— И ты привёл её в класс?

Теперь директор вспомнил, за что приглашён к нему этот возмутитель спокойствия. И ждал только подходящего момента, чтобы обрушить свои громы на эту круглую, давно не стриженную голову.

Мальчик снова проглотил слюну и, не отрывая глаз от плаща и коричневой шляпы, сказал:

— Она сидела тихо. Под партой. Не повизгивала и не чесала лапой за ухом. Нина Петровна не замечала её. И ребята забыли, что у меня под партой собака, и не прыскали от смеха... Но потом она напустила лужу.

— И Нине Петровне это не понравилось?

— Не понравилось... Она наступила в лужу и подпрыгнула как ужаленная. Она долго кричала. На меня и на собаку. А потом она велела мне взять тряпку и вытереть лужу. А сама встала в дальний угол. Она думала, что собака кусается. Ребята гудели и подпрыгивали. Я взял тряпку, которой стирают с доски, и вытер лужу. Нина Петровна стала кричать, что я не той тряпкой вытираю. И велела мне и моей собаке убираться вон. Но она ничего... Она не убивала мою собаку.

Таборка по-прежнему смотрел в одну точку, и со стороны казалось, что он рассказывает не директору, а плащу и шляпе.

— Всё? — спросил директор.

Таборка был у него пятый за этот день, и у директора не было никакого желания продолжать разговор. И если бы мальчик сказал «всё», директор отпустил бы его. Но Таборка не сказал «всё» и не кивнул головой.

— Нет, — сказал он, — мы ещё были в милиции.

Час от часу не легче! Директор с шумом придвинул кресло к столу. Он чувствовал себя в этом большом кресле, как в костюме, который велик. Наверное, его предшественник — старый директор — был толстым, раз завёл такое кресло. А он новый. Директора тоже бывают новичками.

— Как ты очутился в милиции?

Таборка не вспыхнул и не заволновался. Он заговорил сразу, без заминки:

— Моя собака не кусалась. Не то что собаки, которые живут за большими заборами и вечно

скалят зубы. Их чёрные носы смотрят из-под ворот, как двустволки. А моя собака махала хвостиком. Она была белой, и над глазами у неё два рыжих треугольника. Вместо бровей...

Мальчик говорил спокойно, почти монотонно. Слова, как круглые ровные шарики, катались одно за другим.

— И женщину она не кусала. Она играла и ухватила её за пальто. Но женщина рванулась в сторону, и пальто порвалось. Она думала, что моя собака кусается, и закричала. Меня повели в милицию, а собака бежала рядом.

Мальчик поднял глаза на директора: рассказывать дальше? Директор сидел на кончике своего кресла и грудью навалился на стол.

Глаза его прищурились, как будто он целился. Они не видели ничего, кроме Таборки.

— Давай дальше.

— В милиции нас продержали два часа. Мы стояли у стенки и всё чего-то ждали. Но в милиции не убили собаку. Там один, с усами, даже погладил её и дал ей сахару... Оказывается, собаке полагается номер и намордник. По правилам. Но когда я нашёл мою собаку, у неё не было ни номера, ни намордника. У неё вообще ничего не было.

— Где ты нашёл её?

— В посёлке. Хозяева переехали в город, а собаку бросили. Она бегала по улицам, всё искала хозяев.

— Заведут собаку, а потом бросят!

Эти слова вырвались у директора, и он вдруг почувствовал, что после них уже не сможет ударить кулаком по столу. Мальчик не ухватился за его слова. Он неожиданно возразил:

— Они бросили собаку, но не убили. А я наткнулся на неё. Отдал ей свой завтрак, и с тех пор она не отходила от меня.

— Как звали твою собаку?

— Не знаю. Ведь хозяева уехали.

— И ты никак не назвал её?

Мальчик непонимающе посмотрел на директора.

— Ты не дал ей имени?

— А зачем?

Он наконец выпустил из рук тяжёлый портфель, и тот глухо плюхнулся на пол.

— У неё было имя. Я просто не знал его. Спрашивал у ребят. Никто не помнил, как её звали.

— Вот и назвал бы её как-нибудь.

Мальчик покачал головой:

— Раз у собаки есть имя, зачем давать ей новое. У собаки должно быть одно имя.

Теперь Таборка смотрел на медную пепельницу, которая стояла на краю стола. Пепельница была чистой и блестящей. Вероятно, новый директор не курил.

Таборка поднял руку и почесал затылок. И директор заметил на рукаве крупную штопку. Она была похожа на решётку, которая не выпускала локоть наружу.

Мальчик неожиданно умолкал и так же неожиданно начинал говорить, словно часть мыслей оставлял при себе, а часть высказывал вслух.

— Когда я в первый раз привёл собаку домой, он был в отъезде. Мама сказала: «От собаки одна только грязь!» Какая грязь может быть от собаки? От собаки одна радость. Потом мама сказала: «Я твоей собакой заниматься не буду. Занимайся сам!» Так я для того и взял собаку, чтобы

заниматься самому. Моя собака была очень умной. Когда я учил наизусть стихи, она смотрела мне в глаза и слушала. А когда у меня не выходила задача, собака тёрлась о мою ногу. Это она подбадривала меня. А потом приехал он и выгнал собаку.

Таборка не отрывал глаз от пепельницы, а директор скрестил пальцы и положил их под щёку и не спускал с мальчика прищуренных глаз.

— Чем ему помешала собака?.. Я не мог выгнать собаку. Её один раз уже выгоняли. Я поселил её в сарае. Там было темно и скучно. Я всё время думал о своей собаке. Даже ночью просыпался: может быть, ей холодно и она не спит? А может быть, она боится темноты?.. Это, конечно, ерунда: собака ничего не боится! В школе я тоже думал о ней. Ждал, когда кончатся уроки: её завтрак лежал у меня в портфеле... Потом он заплатил штраф за порванное пальто и выгнал собаку из сарая. Я привёл её в школу. Мне некуда было её деть.

Теперь слова мальчика уже не были круглыми шариками. Они стали шершавыми и угловатыми и с трудом вырывались наружу.

— Я не знал, что он задумал убить мою собаку. Меня тогда не было. Он подозвал её и выстрелил ей в ухо.

В комнате стало тихо. Как после выстрела. И долгое время ни мальчик, ни директор не решались прервать молчание.

Неожиданно директор сказал:

— Слушай, Табор! Хочешь, я подарю тебе собаку? Немецкую овчарку с чёрной полосой на хребте.

Мальчик покачал головой:

— Мне нужна моя собака. Я бы её научил спасать утопающих. У меня книжка такая есть, как учить собак.

Директор встал со стула. Он стал ещё выше, чем казался вначале.

Пиджак висел на его худых плечах, как на вешалке. Может быть, его костюм тоже принадлежал когда-то старому директору. Как большое кресло.

Он подошел к мальчику и наклонился к нему:

— Ты можешь помириться с отцом?

— Я с ним не ссорился.

— Но ты с ним не разговариваешь?

— Я отвечаю на его вопросы.

— Он тебя когда-нибудь бил?

— Не помню.

— Обещай мне, что ты помиришься с отцом.

— Я буду отвечать на его вопросы... Пока не вырасту.

— А что ты будешь делать, когда вырастешь?

— Я буду защищать собак.

Директор молча прошёлся по кабинету и вернулся в своё неудобное кресло. А мальчик взял портфель за ручку, которая держалась на одном ушке, и пошёл к двери. Когда он уходил, директор заметил, что штопка на рукаве порвалась и острый локоть вырвался сквозь решётку наружу.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН. ТРАГЕДИЯ «МОЦАРТ И САЛЬЕРИ» СЦЕНА I

Комната.

Сальери

Все говорят: нет правды на земле.

Но правды нет — и выше. Для меня

Так это ясно, как простая гамма.

Родился я с любовью к искусству;

Ребёнком будучи, когда высоко

Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался — слёзы
Невольные и сладкие текли.
Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолею
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить; но в тишине, но в тайне,
Не смея помышлять ещё о славе.
Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
Вкусив восторг и слёзы вдохновенья,
Я жёг мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с лёгким дымом исчезали.
Что говорю? Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я всё, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошёл ли бодро вслед за ним

Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?
Уильным, напряжённым постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой. Слава
Мне улыбнулась; я в сердцах людей
Нашёл созвучия своим созданьям.
Я счастлив был: я наслаждался мирно
Своим трудом, успехом, славой; также
Трудами и успехами друзей,
Товарищей моих в искусстве дивном.
Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда! — ниже, когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Ниже, когда услышал в первый раз
Я Ифигении начальны звуки.
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змеёй, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею бессильно?
Никто!.. А ныне — сам скажу — я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. — О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Входит Моцарт.

Моцарт

Ага! увидел ты! а мне хотелось
Тебя неожиданной шуткой угостить.

Сальери

Ты здесь! — Давно ль?

Моцарт

Сейчас. Я шёл к тебе,
Нёс кое-что тебе я показать;
Но, проходя перед трактиром, вдруг
Услышал скрипку... Нет, мой друг, Сальери!
Смешнее отроду ты ничего
Не слыхивал... Слепой скрипач в трактире
Разыгрывал *voi che sapete*. Чудо!
Не вытерпел, привёл я скрипача,
Чтоб угостить тебя его искусством.
Войди!
Входит слепой старик со скрипкой.

Из Моцарта нам что-нибудь!

Старик играет арию из Дон-Жуана; Моцарт хохочет.

Сальери

И ты смеяться можешь?

Моцарт

Ах, Сальери!

Ужель и сам ты не смеёшься?

Сальери

Нет.

Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери.
Пошёл, старик.

Моцарт

Постой же: вот тебе,
Пей за моё здоровье.

Старик уходит.

Ты, Сальери,
Не в духе нынче. Я приду к тебе
В другое время.

Сальери

Что ты мне принёс?

Моцарт

Нет — так; безделицу. Намедни ночью
Бессонница моя меня томила,
И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня их я набросал. Хотелось
Твоё мне слышать мненье; но теперь
Тебе не до меня.

Сальери

Ах, Моцарт, Моцарт!
Когда же мне не до тебя? Садись;
Я слушаю.

Моцарт

(за фортепиано)

Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня — немного помоложе;
Влюблённого — не слишком, а слегка —
С красоткой, или с другом — хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...
Ну, слушай же.

(Играет.)

Сальери

Ты с этим шёл ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрипача слепого! — Боже!
Ты, Моцарт, недостойн сам себя.

Моцарт

Что ж, хорошо?

Сальери

Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.

Моцарт

Ба! право? может быть...
Но божество моё проголодалось.

Сальери

Послушай: отобедаем мы вместе
В трактире Золотого Льва.

Моцарт

Пожалуй;
Я рад. Но дай схожу домой сказать
Жене, чтобы меня она к обеду
Не дожидалась.

(Уходит.)

Сальери

Жду тебя; смотри ж.
Нет! не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить — не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,

Не я один с моей глухою славой...
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты ещё достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падёт опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нём? Как некий херувим,
Он несколько занёс нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

Вот яд, последний дар моей Изоры.
Осьмнадцать лет ношу его с собою —
И часто жизнь казалась мне с тех пор
Несносной раной, и сидел я часто
С врагом беспечным за одной трапезой,
И никогда на шёпот искушенья
Не преклонился я, хоть я не трус,
Хоть обиду чувствую глубоко,
Хоть мало жизнь люблю. Всё медлил я.
Как жажда смерти мучила меня,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесёт незапные дары;
Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь и вдохновенье;
Быть может, новый Гайден сотворит
Великое — и наслажуся им...
Как пировал я с гостем ненавистным,
Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты —
Тогда не пропадёшь ты, дар Изоры.

И я был прав! и наконец нашёл
Я моего врага, и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил!
Теперь — пора! заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.

СЦЕНА II

Особая комната в трактире; фортепиано.

Моцарт и Сальери за столом.

Сальери

Что ты сегодня пасмурен?

Моцарт

Я? Нет!

Сальери

Ты верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?

Обед хороший, славное вино,
А ты молчишь и хмуришься.

Моцарт

Признаться,

Мой Requiem меня тревожит.

Сальери

А!

Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?

Моцарт

Давно, недели три. Но странный случай...

Не сказывал тебе я?

Сальери

Нет.

Моцарт

Так слушай.

Недели три тому, пришёл я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего — не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашёл и не застал опять меня.
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в чёрном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать — и с той поры за мною
Не приходил мой чёрный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. Но между тем я...

Сальери

Что?

Моцарт

Мне совестно признаться в этом...

Сальери

В чём же?

Моцарт

Мне день и ночь покоя не даёт
Мой чёрный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

Сальери

И, полно! что за страх ребячий?
Рассей пустую думу. Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли чёрные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Моцарт

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него «Тарара» сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив...
Я всё твержу его, когда я счастлив...
Ла ла ла ла... Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери

Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Моцарт

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сальери

Ты думаешь?

(Бросает яд в стакан Моцарта.)

Ну, пей же.

Моцарт

За твоё
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.

(Пьёт.)

Сальери

Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил... без меня?

Моцарт

(бросает салфетку на стол)

Довольно, сыт я.

(Идёт к фортепиано.)

Слушай же, Сальери,
Мой Requiem.

(Играет.)

Ты плачешь?

Сальери

Эти слёзы

Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсёк
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слёзы...
Не замечай их. Продолжай, спеши
Ещё наполнить звуками мне душу...

Моцарт

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,

Мне что-то тяжело; пойду засну.

Прощай же!

Сальери

До свиданья.

(Один.)

Ты заснёшь

Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,

И я не гений? Гений и злодейство

Две вещи несовместные. Неправда:

А Бонаротти? Или это сказка

Тупой, бессмысленной толпы — и не был

Убийцею создатель Ватикана? (1830)

ЕЛЕНА ГАБОВА. РАССКАЗ «НЕ ПУСКАЙТЕ РЫЖУЮ НА ОЗЕРО»

Светка Сергеева была рыжая. Волосы у неё грубые и толстые, словно яркая медная проволока. Из этой проволоки заплеталась тяжёлая коса. Мне она напоминала трос, которым удерживают на берегу большие корабли.

Лицо у Светки бледное, в крупных веснушках, тоже бледных, насакивающих одна на другую. Глаза зелёные, блестящие, как лягушата.

Сидела Светка как раз посреди класса, во второй колонке. И взгляды наши нет-нет да и притягивались к этому яркому пятну.

Светку мы не любили. Именно за то, что она рыжая. Ясное дело, Рыжухой дразнили. И ещё не любили за то, что голос у неё ужасно пронзительный. Цвет Светкиных волос и её голос сливались в одно понятие: Ры-жа-я.

Выйдет она к доске, начнёт отвечать, а голос высокий-высокий. Некоторые девчонки демонстративно затыкали уши. Забыл сказать: почему-то особенно не любили Светку девчонки. Они до неё даже дотрагиваться не хотели. Если на физкультуре кому-нибудь из них выпадало делать упражнения в одной паре с Рыжухой – отказывались. А как физрук прикрикнет, то делают, но с такой брезгливой миной на лице, словно Светка прокажённая. Маринке Быковой и окрик учителя не помогал: наотрез отказывалась с Сергеевой упражняться. Физрук Быковой двойки лепил.

Светка на девчонок не обижалась – привыкла, наверно.

Слышал я, что жила Светка с матерью и двумя сестрёнками. Отец от них ушёл. Я его понимал: приятно ли жить с тремя, нет, четырьмя рыжими женщинами? Мать у Светки тоже рыжая, маленького росточка. Одевались они понятно как – ведь трудно жили. Но наши девчонки трудности Рыжухи во внимание не принимали. Наоборот, презирали её ещё и за единственные потёртые джинсы.

Ладно. Рыжая так Рыжая. Слишком много о ней.

Очень любили мы походы. Каждый год ходили по несколько раз. И осенью, и весной. Иногда зимой в лес выбирались. Ну, а летом говорить нечего. Летом поход был обязательно с ночёвкой.

Наше любимое загородное место было Озёл. Здесь славное озеро – длинное и не очень широкое. По одному берегу сосновый бор, по другому – луга. Мы на лугах останавливались. Палатки ставили, всё честь честью.

Мы с Женькой в походах всегда рыбачили. Тем более, в Озёле. Озеро рыбное, окуни тут брали и сорога, а ерши, так те словно в очередь выстраивались, чтобы хапнуть наживку. Всегда мы девчонкам на уху приносили. Объеденье. Хоть из-за одной ухи в походы ходи, до того вкусно.

Брали напрокат лодку – была тут небольшая лодочная станция – и плыли на середину озера. Все дни напролёт с Женькой рыбачили. А вечером... Вечером, на зорьке, самый клев, а нам половить не удавалось.

Из-за Рыжухи, между прочим, из-за Светки Сергеевой.

Она с нами тоже в походы ездила. Ведь знала, что одноклассники её не любят, а всё равно ездила. Не прогонишь же.

Вечером возьмёт Светка синюю лодку и тоже на середину озера гребёт. Вокруг красота, солнышко за сосны закатывается, в воде деревья отражаются, а вода тихая-тихая, и видно, как со Светкиных вёсел срываются розовые от солнца капли.

Выгребет Светка на середину озера, вёсла в воду опустит и начинает. Выть начинает.

То есть, она пела, конечно, но мы это пением не называли. Высокий голос Рыжухи раздавался далеко по озеру, по лугам.

Клевать у нас переставало.

Почему ей нужно было на середине озера петь – не понимаю. Может, окружающая природа вдохновляла? К тому же от воды резонанс сильный. Ей, наверно, нравилось, что её весь мир слышит.

Что она пела – не берусь сказать. Жалобно, заунывно. Никогда я больше таких песен не слышал.

Женька начинал ругаться. Ругался и плевал в озеро в сторону Рыжухи. А я неторопливо и хмуро сматывал удочки.

Выла Рыжуха час-полтора. Если ей казалось, что какая-нибудь песня не очень удавалась, она заводила её снова и снова.

Мы вытаскивали лодку на берег и шли к одноклассникам.

Нас встречали смехом.

– Хорошо воеет?– спрашивал кто-нибудь.

– Заслушаешься, – коротко отвечал я.

А Женька разражался гневной тирадой, которую я приводить тут не буду.

– Дура рыжая, – кривила губы Маринка Быкова. – И чего она с нами прётся? Выла бы себе дома.

А голос Рыжухи всё раздавался, и было в нём что-то родственное с начинающей расти травой, лёгкими перистыми облаками, тёплым воздухом, в котором роились ещё не умеющие кусаться комары.

Почему-то нам с Женькой не приходило в голову поговорить со Светкой по-человечески, попросить, чтобы она не пела над озером, не портила рыбалку. Может, она и не знала, что мешает кому-то.

В день последнего экзамена в девятом Нинка Пчелкина бросила клич:
– Кто завтра в поход?

И тут же устроила запись.

Она же распределила обязанности. Девчонки покупают продукты, мальчишки добывают спальники, палатки. Кассетник берет Маринка, камера хорошая у Женьки, на пленку «Кодак» скидываются все.

Женька подвалил к Рыжухе, опёрся руками о её стол и сказал:
– Рыжуха, сделай доброе дело, а?

Светка вспыхнула и насторожилась. Никто к ней с просьбами не обращался.

– Какое?

– Не ездь с нами в поход.

Рыжуха поджала бледные губы и ничего не ответила.

– Не поедешь? Не ездь, будь другом.

– Я с вами поеду, – высоким дрожащим голосом сказала Рыжуха, – а буду отдельно.

Вот это «отдельно» и было для нас всего опаснее. Опять отдельно от всех будет на озере выть! Опять вечерней зорьки мы не увидим.

Женька отошёл от Рыжей и прошептал мне:
– В этот поход я Рыжую не пущу. Или я буду не я.

Он торжествующе посмотрел на Светку, словно уже добился своего.

Тёплым июньским днём мы устроились на палубе теплохода. Нас, дружных, двадцать пять душ. У наших ног тюки с палатками, рюкзаки, из которых выпирают буханки хлеба, торчат ракетки для бадминтона. У нас с Женькой ещё и удочки. По всякому поводу мы смеёмся. Экзамены позади – весело. Лето впереди – весело.

Рыжуха сидит на краю скамейки, рядом с ней – пустое пространство. Рядом с ней никто не садится.

За минуту до того, как отчалить, к Рыжухе подходит Женька. Он в синем спортивном костюме «Адидас» – стройный симпатичный малый. Выражение лица Рыжухи встревоженное, она чувствует подвох.

– Это твоя сумка?– спрашивает Женька и кивает на допотопную дерматиновую сумку, которая стоит около Рыжухи. В сумке, наверное, бутерброды с маргарином и яйца. Сверху высовывается серенький свитер, его Рыжуха взяла, видно, на случай похолодания. Я живо представил, как она в этом свитере сидит в синей лодке и портит нам рыбалку.

– Моя,– отвечает Светка.

– Алле хоп!– восклицает Женька, хватая сумку, и бежит с ней по палубе. И вот мы слышим, как он кричит уже с причала: – Эй, Рыжая! Вон где твоя сумочка! Слышь?

Мы глядим через борт теплохода. Женька ставит сумку на железный пол и мчится обратно. Теплоход зафырчал, за кормой забурлило. Но трап ещё не убрали, около него стоит матрос в яркой футболке и пропускает опаздывающих пассажиров.

Рыжуха сидела-сидела, потеряно глядя в пол, потом как вскочит и – к выходу. Еле успела на берег, теплоход сразу же отчалил.

Свитера, наверно, жалко стало, бутербродов.

Женька рядом со мной стоит, Светке рукой машет и орёт:
– До свиданья, Рыжая! Гудбай! Извини, нельзя тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь!

И девчонки со своих мест ей ручкой делают, кричат противными голосами:
– Прощай, подруга!

– Больше не увидимся!

– Ха-ха!

И давай Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил.

Чего девчонки радовались, я, честно говоря, не понял. Ну, мы с Женькой, ладно, нам Светка мешала рыбу ловить. А им-то что? Ведь вместе со всеми Рыжуха и не бывала – не даром её ни на одной фотографии нет. Бродила одна по лугам, одна у костра сидела, когда все уже по палаткам расходились. Ела то, что с собой из дома брала. В начале похода она свои припасы на общий стол выкладывала, но ее хлеб с маргарином и яйца Быкова в сторону двигала. При этом лицо у нее было такое же брезгливое, как на уроке физкультуры, когда выпадало делать упражнения с Рыжухой.

Теплоход ещё толком не отошёл от города, а мы о Рыжухе уже забыли. Лишь на вечерней зорьке я о ней вспомнил, и в сердце ворохнулось что-то неприятное.

Но зато никто на озере не шумел. Клевало отлично. Женька был особенно оживлён. А мне это «что-то» мешало радоваться.

В десятый Рыжая не пошла. Классная сказала, что она поступила в музыкальное училище.

А ещё через пять лет произошла вот такая история.

В то время я начинал учиться в одном из Петербургских вузов. И познакомился с девушкой, которая взялась подковать меня, провинциала, в культурном отношении. В один прекрасный день Наташа повела меня в Маринку, на оперу.

И что же я вижу в первые минуты спектакля?

На сцене появляется золотоволосая красавица. У нее белейшая кожа! Как она величаво идёт! От всей её наружности веет благородством! Пока я ещё ничего не подозреваю, просто отмечаю про себя, что молодая женщина на сцене прямо-таки роскошная. Но когда она запела высоким, удивительно знакомым голосом, меня мгновенно бросило в пот.

– Рыжуха!– ахнул я.

– Тише!– шипит на меня Наташа.

– Ты понимаешь, это Рыжуха, – шепчу, нет, кричу ей шепотом, – мы с ней в одном классе учились.

– Что ты говоришь?! – всполошилась знакомая. – Ты понимаешь, кто это? Это наша восходящая звезда!

– Как её звать?– ещё на что-то надеюсь, спросил я.

– Светлана Сергеева.

Весь спектакль я просидел, не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в моём сердце – восторга или стыда.

После спектакля Наташа говорит:
– Может, пойдёшь за кулисы? Ей приятно будет увидеть своего земляка, да ещё одноклассника. Жаль, цветов не купили!

– Нет, давай в другой раз, – скромно ответил я.

Мне меньше всего хотелось встречаться с Рыжухой с глазу на глаз.

По дороге довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на озере. Теперь я не говорил, что она «выла». Мой авторитет в глазах знакомой значительно подскочил. А я в своих глазах...

– Надо же! – удивлялась Наташа. – С Сергеевой в одном классе учился!

Я плохо её слушал. Думал о том, что не Светка рыжая. Светка оказалась золотой. А рыжие мы. Весь класс рыжий.

Константин Паустовский — Телеграмма: Рассказ

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвести и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи пере, стали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта – портрет

ее отца, а вот эта – маленькая, в золотой раме – подарок Крамского, эскиз к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом – известным художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обительница, Катерина Петровна не знала. А в селе – называлось оно Заборье – никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, – девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.

– На что это мне? – хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. – Тряпичница я, что ли?

– А ты продай, милая, – шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. – Ты продай.

– Сдам в утиль, – решала Манюшка, забирала все и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае – Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал: – Работа натуральная!

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:

– Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване – сгорбленная, маленькая, – и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

– Ну что ж, – говорил он, не дождавшись ответа. – Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

– Иди, Тиша, – шептала Катерина Петровна. – Иди, бог с тобой!

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, – без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья.

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами. Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:

– Кто стучит?

Но за забором никто не ответил.

– Должно быть, почудилось, – сказала Катерина Петровна и побрела назад.

Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя, – писала Катерина Петровна. – Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, поддержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, – смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет – совсем уж не тот, – да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, – что там? Но внутри ничего не было видно – одна жестяная пустота. Настя работала секретарем в Союзе художников. Работ«было много, Устройство выставок, конкурсов – все это проходило через ее руки.

Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, – решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет – значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, – сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл сам Тимофеев – маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты. – Не раздевайтесь, – буркнул Тимофеев. – А то замерзнете. Прошу!

Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты.

– Боже мой, какой холод! – сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

– Вот, полюбуйтесь! – сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. – Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары.

– Вы не любите Першина? – осторожно спросила Настя.

– Выскочка! – сердито сказал Тимофеев. – Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница – каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал!

– Покажите мне вашего Гоголя, – попросила Настя, чтобы переменить разговор.

– Перейдите! – угрюмо приказал скульптор. – Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так!

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал:

– Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, – казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. – Эх ты, сорока!»

– Ну что? – опросил Тимофеев. – Серьезный дядя, да?

– Замечательно! – с трудом ответила Настя. – Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

– Превосходно, – повторил он. – Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь – превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет – и готово. А Першин хмыкнул – значит, конец!... Ночи не спишь! – крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. – Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

– Это все о Гоголе! – сказал он и вдруг успокоился. – Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.

– Ну что ж, будем драться вместе, – сказал Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности.

Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

– Куда там сейчас ехать! – сказала она и встала, – Разве отсюда вырвешься!

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней – и положила письмо в ящик письменного стола.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.

Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.

– Ни черта у вас не получится, дорогая моя, – со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. – Зря я только трачу время, честное слово.

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.

– Мертвый свет! – ворчал он. – Убийственная скука! Керосин и то лучше.

– Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? – вспылила Настя.

– Свечи нужны! Свечи! – страдальчески закричал Тимофеев. – Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу. Абсурд!

На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке:

– Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю!

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано.

В дверях появилась курьерша из Союза – добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:

«Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя? – растерянно подумала Настя. – Какой Тихон? Должно бить, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Перший.

– В наши дни, – говорил он, покачиваясь и придерживая очки, – забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны – да не в обиду будет сказано нашему руководству – одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне.

Перший поклонился Насте, и все заплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез.

Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.

– Что? – спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. – Ничего неприятного?

– Нет, – ответила Настя. – Это так... От одной знакомой...

– Ага! – пробормотал старик и снова стал слушать Першина.

Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? – подумала она. – Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: – «Эх, ты!»

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.

«Ненаглядная моя, – вспомнила Настя недавнее письмо. – Ненаглядная!»

Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.

«Поздно! Маму я уже не увижу», – сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово – «мама».

Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.

«Что ж что, мама? Что? – думала она, ничего не видя. – Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила».

Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог.

Она опоздала. Билетов уже не было.

Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.

Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.

– Что с вами, гражданка? – недовольно спросила она.

– Ничего, – ответила Настя. – У меня мама... Настя повернулась и быстро пошла к выходу.

– Куда вы? – крикнула кассирша. – Сразу надо было сказать. Подождите минутку.

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.

...Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и пошел к Катерине Петровне.

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала: живая?

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала – от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.

Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.

– Что, Тиша? – бессильно спросила Катерина Петровна.

– Похолодало, Катерина Петровна! – бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. – Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет – значит, и ей будет способнее ехать.

– Кому? – Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.

– Да кому же другому, как не Настасье Семеновне, – ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. – Кому, как не ей.

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.

– Вот! – сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.

Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.

– Прочти, – сказала Манюшка хрипло. – Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в глазах.

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».

– Не надо, Тиша! – тихо сказала Катерина Петровна. – Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны.

Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.

– Не дождалась, – пробормотал Тихон. – Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура, – сказал он сердито Манюшке, – за добро плати добром, не будь пустельгой... Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.

Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрал колени, тряслась и смотрела не отрываясь на Катерину Петровну.

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины – старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и не мигая смотрела перед собой.

Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы.

По дороге встретила учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.

– Учителька идет, учителька! – зашептали мальчишки.

Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать – вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами – уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.

Учительница наконец решила и спросила одну из старух, бабу Матрену:

– Одинокая, должно быть, была эта старушка?

– И-и, мила-ая, – тотчас запела Матрена, – почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем ей слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.

За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.

Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи – предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище – земля на нем смерзлась комками – и холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока аа окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет.

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто нз увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. РАССКАЗ «ЮШКА»

Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него мало было силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы.

Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои; он их должен покупать за свое жалованье — семь рублей и шестьдесят копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал, он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело, и босой, зимою же он надевал поверх блузы еще полушубок, доставшийся ему от умершего отца, а ноги обувал в валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую зиму всю жизнь одну и ту же пару.

Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон Юшка уж работать пошел, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться — вон и Юшка уж спать пошел.

А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали:

— Вон Юшка идет! Вон Юшка!

Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку.

— Юшка! — кричали дети. — Ты правда Юшка?

Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них; он шел так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор.

Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не сердает на них. И они снова окликали старика:

— Юшка, ты правда или нет?

Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмет хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают. Дети не знали другого такого человека, и они думали — вправду ли Юшка живой? Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый и живой.

Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли, — пусть он лучше злится, раз он вправду живет на свете. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали сердчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вокруг него, чтоб он отозвался им злом и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него и в испуге, в радости снова бы дразнили его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера, в сени домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им.

Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им:

— Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!.. Вы, должно быть, любите меня!.. Отчего я вам всем нужен?.. Обождите, не надо меня трогать, вы мне в глаза землей попали, я не вижу.

Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь, а он им ничего не делает.

Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его.

Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей: «Вот ты будешь такой же, как Юшка! — Вырастешь, и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду!»

Взрослые пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными, тогда сердце их наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему:

— Да что ты такой блажнóй, непохожий ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное?

Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ.

— Слов у тебя, что ли, нету, животное такое! Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай! Говори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага!.. Ну ладно!

И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его больше, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время свое горе.

Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы, она подымала его и уводила с собой.

— Лучше бы ты умер, Юшка, — говорила хозяйская дочь. — Зачем ты живешь?

Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить.

— Это отец-мать меня родили, их воля была, — отвечал Юшка, — мне нельзя помирать, и я отцу твоему в кузне помогаю.

— Другой бы на твое место нашелся, помощник какой!

— Меня, Даша, народ любит!

Даша смеялась.

— У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь — народ тебя любит!..

— Он меня без понятия любит, — говорил Юшка. — Сердце в людях бывает слепое.

— Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие! — произносила Даша. — Иди скорее, что ль! Любят-то они по сердцу, да бьют тебя по расчету.

— По расчету они на меня серчают, это правда, — соглашался Юшка. — Они мне улицей ходить не велят и тело калечат.

— Эх ты, Юшка, Юшка! — вздыхала Даша. — А ты ведь, отец говорил, нестарый еще!

— Какой я старый!.. Я грудью с детства страдаю, это я от болезни на вид оплошал и старым стал...

По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешком в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились.

Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он говорил, что в деревне у него живет вдовая сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идет в деревню, а в иной, что в самоё Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец.

В июне или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала, он более не чувствовал своего недуга — чахотки. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим. Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работающие кузнечики издавали в траве веселые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко, в грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнущих влагой и солнечным светом.

По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил более о болезни и шел весело дальше, как здоровый человек. Юшке было сорок лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим.

И так каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал, — об этом никому в городе не было известно.

Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его.

Юшка смиренно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей сто, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно к кому.

Но год от году Юшка все более слабел, потому шло и проходило время его жизни и грудная болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно вечером, уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним:

— Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело! Хоть бы ты помер, что ли, может, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться...

И здесь Юшка осерчал в ответ — должно быть, первый раз в жизни.

— А чего я тебе, чем я вам мешаю!.. Я жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя...

Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него:

— Да ты что! Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный!

— Я не равняю, — сказал Юшка, — а по надобности мы все равны...

— Ты мне не мудрой! — закричал прохожий. — Я сам помудрей тебя! Ишь, разговорился, я тебя выучу уму!

Замахнувшись, прохожий с силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь.

— Отдохни, — сказал прохожий и ушел домой пить чай.

Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся.

Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел во тьме белые открытые неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен; столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова Юшки лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая, ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки.

— Помер, — вздохнул столяр. — Прощай, Юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья!..

Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки, и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним и мучил его при жизни.

Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство.

Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина-кузнеца: где ей найти Ефима Дмитриевича?

— Какого Ефима Дмитриевича? — удивился кузнец. — У нас такого сроду тут и не было.

Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее: что за гостью ему принесла непогода. Девушка на вид была тщедушна и невелика ростом, но мягкое чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался:

— Уж не Юшка ли он? Так и есть — по паспорту он писался Дмитричем...

— Юшка, — прошептала девушка. — Это правда. Сам себя он называл Юшкой.

Кузнец помолчал.

— А вы кто ему будете? — Родственница, что ль?

— Я никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня, маленькую, в семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом... Каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, чтоб я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, где же он, — он говорил, что работал у вас двадцать пять лет...

— Половина полвека прошло, состарились вместе, — сказал кузнец.

Он закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтоб она ела его.

Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила ученье на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца...

С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утешать страдание и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью.

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ. СТИХОТВОРЕНИЕ «ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ» (1919)

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трем мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик, — конечно тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?

Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят — зеленная, — знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...

Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренной косой
Шел представляться Императрице
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.

Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.

И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить...
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. РАССКАЗ «КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ»

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живет, как птица пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками – дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

– Как тебя зовут, девочка? – спросил Григ.

– Дагни Педерсен, – вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

– Вот беда! – сказал Григ. – Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

– У меня есть старая мамина кукла, – ответила девочка. – Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у нее зеленоватые и в них поблескивает огоньками листва.

– А теперь она спит с открытыми глазами, – печально добавила Дагни. – У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кричит.

– Слушай, Дагни, – сказал Григ, – я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

– Ой, как долго!

– Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.

– А что это такое?

– Узнаешь потом.

– Разве за всю свою жизнь, – строго спросила Дагни, – вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

– Да нет, это не так, – неуверенно возразил он. – Я сделаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

– Я не разобью, – умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. – И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», – подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

– Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

– Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

– Хагеруп, – ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: – Разве вы не зайдете к нам? У нас сеть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки.

– Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки.

«Я напишу музыку, – решил Григ. – На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен – дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

* * *

В Бергене все было по-старому.

Все, что могло приглушить звуки, – ковры, портьеры и мягкую мебель – Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи – от рокота северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всем – о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сестрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано.

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца. Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошел снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья. Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» – говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, – говорит ей Григ. – Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни.

Ты – белая ночь с ее загадочным светом. Ты – счастье. Ты – блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце.

Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и поглядывал в щелку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой, с тяжелыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто знает, что ждет Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатухе под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.

Пароходы весь день покрякивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит – «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна д'Арк» из Бордо.

В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картины, вырезанные из книг и журналов: кавалеры времен Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подниматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

* * *

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить Есему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка, – сказал он, – это зеркало гения».

Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актер вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутком, а послезавтра – народным героем.

– Дагни, – кричала в таких случаях тетушка Магда, – заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном и, наоборот, в темные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав – ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

– Посмотри, Магда, – сказал вполголоса дядюшка Нильс, – Дагни так хороша, будто идет на первое свидание.

– Вот именно! – ответила Магда. – Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.

– Это ты меня звал, Нильс? – спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда.

– Что случилось? – спросила Дагни.

Магда схватила ее за руку и прошептала:

– Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

– Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы, но это не помогло.

Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями. Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она наконец услышала, как поет ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке – в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песка. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты – счастье, – говорил он. – Ты – блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! – думала Дагни. – Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» – «За что?» – спросил бы он. «Я не знаю... – ответила бы Дагни. – За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи еще лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувства красоты этого мира.

– Слушай, жизнь, – тихо сказала Дагни, – я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.

СКАЗКА «ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ»

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подъяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку, и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, — сказал один генерал, — вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! да что ж это такое! где мы! — вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше, как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слезы, — ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что, — отвечал другой генерал, — подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошел один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита. Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну, что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь?

— Да вот нашел старый номер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натошак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да, — отвечал другой генерал, — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают.

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как все это сделать?

— Как все это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

— Теперя я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом, — ведь этак мы друг друга съедим!

— И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство; но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал. «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать пора!»

Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся...

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

— Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном номере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера, — читал взволнованным голосом один генерал, — у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомец лесов кавказских — фазан, и столь редкая в нашем севере в февралье месяце земляника...»

— Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее:

«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, — все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?

— То есть как же... мужика?

— Ну, да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него, — небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и зачоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришлось даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужичьи старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!»

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только своей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопля, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние все накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более что в «Московских ведомостях» повествуют...

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут номер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани — и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! Все сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

— Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше словно муха ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались! И выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако, и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. СКАЗКА «ДИКИЙ ПОМЕЩИК»

«Дикий помещик» — сказка Салтыкова-Щедрина, познакомить с которой обязательно нужно детей школьного возраста. В ней рассказывается о том, как одному барину стало мало воздуха, и он попросил высшие силы избавить его от крестьян. Бог исполнил его желание. Аллегорическая сказка показывает, во что может превратиться человек, если останется в одиночестве, не умея при этом ничего делать самостоятельно. После прочтения каждый задумается о том, как важно общение, гигиена, элементарные бытовые навыки и чем ценно человеческое достоинство.

Время чтения: 17 мин.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядячи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» (орган реакционно-дворянской оппозиции 60-х годов XIX в. — Ред.) и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, — видит и опасается: «А ну, как он у меня все добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!»

— Одно только слово написано, — молвит глупый помещик, — а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим, — потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут — все нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: «Моя вода!», курица за околицу выбредет — помещик кричит: «Моя земля!». И земля, и вода, и воздух — все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром господу богу:

— Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!»

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думает, театр у себя! напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский: сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр, и занавес поднимать некому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

— Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

— Стало быть, шампиньоны на лице растить собрался? — сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я все гран-пасьянс да гран-пасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульку-другую сыграть!»

Сказано — сделано: написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это,- хвастается помещик, — что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы, — стало быть, теперь у вас этого холопьяго запаху нисколько не будет?

— Нисколько, — отвечает помещик.

Сыграли пульту, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

— Что ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите, чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит не топлена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сырьём кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не докончив пульты, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гран-пасьянс.

— Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз» и думает:

«Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать». И как назло, сколько раз ни разложит — все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

— Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, довольно гран-пасьянс раскладывать, пойду, позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, что все паром, да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет: «Вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех!» Посмотрит в окошко — ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по шучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться — ан там уж пыли на вершок насело...

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет, — ну, пускай себе до поры, до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, — и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой-такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать!» Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра... *(согласно библейским преданиям, в раю. — Ред.)*

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя, — хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая занесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен!»

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

— А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил.

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?... это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий *(государственной монополии на продажу. — Ред.)*, существовать не может?

— Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уже третий человек его дураком чувствует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на

обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» — и струсил не на шутку:

-Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и все думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает:

«В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!»

Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит:

«А глупый ты, господин помещик!» Видит он, бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гран-пасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышинный аппетит.

— Кшш... — бросился он на мышонка. Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и чрез мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: «Погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!»

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались, как железные. Сморгаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рывканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит, это, заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, — а он уж тут

как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь, — только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил.

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каком-то человеко-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую грудку денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берете!!

«Что же сделалось, однако, с помещиком?» — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ. РАССКАЗ «СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА»

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на вершине блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и.. апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков несколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брижжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

— Ничего, ничего...

— Ради Бога, извините. Я ведь... я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брижжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

— Ах, полноте... Я уж забыл, а вы всё о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брижжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публичке держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, постригся и пошел к Брижжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство, — начал докладывать экзекутор, — я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Чёрт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с..., а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шёпотом Червяков, млея от ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ. СТИХОТВОРЕНИЕ «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

Ваня (в кучерском армячке).

Папаша! кто строил эту дорогу?

Папаша (в пальто на красной подкладке),

Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!

Разговор в вагоне

1

Славная осень! Здоровый, ядреный

Воздух усталые силы бодрит;

Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор!
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —
Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...

2

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.
Труд этот, Ваня, был страшно громаден
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.
Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
Чу! восклицанья слышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!
То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!
Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.
Грабили нас грамотей-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Всё претерпели мы, божию ратники,
Мирные дети труда!
Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?..»
Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого —
Это всё братья твои — мужики!
Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,

Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый больной белорус:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядишься к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!
Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!
Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.
Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет всё, что господь ни пошлет!
Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.

3

В эту минуту свисток оглушительный
Взвизгнул — исчезла толпа мертвецов!
«Видел, папаша, я сон удивительный,-
Ваня сказал,- тысяч пять мужиков,

Русских племен и пород представители
Вдруг появились — и *он* мне сказал:
«Вот они — нашей дороги строители!..»
Захохотал генерал!

«Был я недавно в стенах Ватикана,
По Колизею две ночи бродил,
Видел я в Вене святого Стефана,
Что же... всё это народ сотворил?
Вы извините мне смех этот дерзкий,
Логика ваша немножко дика.
Или для вас Аполлон Бельведерский
Хуже печного горшка?

Вот ваш народ — эти термы и бани,
Чудо искусства — он всё растаскал!»-
«Я говорю не для вас, а для Вани...»
Но генерал возражать не давал:

«Ваш славянин, англо-сакс и германец
Не создавать — разрушать мастера,
Варвары! дикое скопище пьяниц!..
Впрочем, Ванюшей заняться пора;
Знаете, зрелищем смерти, печали
Детское сердце грешно возмущать.
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону...»

4

Рад показать!
Слушай, мой милый: труды роковые
Кончены — немец уж рельсы кладет.
Мертвые в землю зарыты; больные
Скрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался...
Крепко затылки чесали они:
Каждый подрядчику должен остался,
Стали в копейку прогульные дни!
Всё заносили десятники в книжку —
Брал ли на баню, лежал ли больной:
«Может, и есть тут теперича лишку,
Да вот, поди ты!..» Махнули рукой...
В синем кафтане — почтенный лабазник,
Толстый, присадистый, красный, как медь,
Едет подрядчик по линии в праздник,
Едет работы свои посмотреть.
Праздний народ расступается чинно...
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченясь картинно:
«Ладно... нешто... молодца!.. молодца!..
С богом, теперь по домам,- проздравляю!
(Шапки долой — коли я говорю!)
Бочку рабочим вина выставляю
И — *недоимку дарю!*..»
Кто-то «ура» закричал. Подхватили
Громче, дружнее, протяжнее... Глядь:
С песней десятники бочку катили...
Тут и ленивый не мог устоять!
Выпряг народ лошадей — и купчину
С криком «ура!» по дороге помчал...
Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?.. (1864)

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ.
СТИХОТВОРЕНИЕ «РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА»

Вот парадный подъезд. По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям;
Записав свое имя и званье,
Разъезжаются гости домой,
Так глубоко довольны собой,
Что подумаешь — в том их призванье!
А в обычные дни этот пышный подъезд
Осаждают убогие лица:
Прожектеры, искатели мест,
И преклонный старик, и вдовица.
От него и к нему то и знай по утрам
Всё курьеры с бумагами скачут.
Возвращаясь, иной напевает «трам-трам»,
А иные просители плачут.
Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. «Допусти», — говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!»

Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...
А владелец роскошных палат
Еще сном был глубоким объят...
Ты, считающий жизнью завидною
Упоение лестью бесстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,
Пробудись! Есть еще наслаждение:
Вороти их! в тебе их спасение!
Но счастливые глухи к добру...
Не страшат тебя громы небесные,
А земные ты держишь в руках,
И несут эти люди безвестные
Неисходное горе в сердцах.
Что тебе эта скорбь вопиющая,
Что тебе этот бедный народ?
Вечным праздником быстро бегущая
Жизнь очнуться тебе не дает.
И к чему? Щелкоперов забавою
Ты народное благо зовешь;
Без него проживешь ты со славою
И со славой умрешь!
Безмятежней аркадской идиллии
Закатятся преклонные дни:
Под пленительным небом Сицилии,

В благовонной древесной тени,
Созерцая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное,
Полосами его золотя, —
Убаюканный ласковым пением
Средиземной волны, — как дитя
Ты уснешь, окружен попечением
Дорогой и любимой семьи
(Ждушей смерти твоей с нетерпением);
Привезут к нам останки твои,
Чтоб почтить похоронною тризною,
И сойдешь ты в могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой!..
Впрочем, что ж мы такую особу
Беспокоим для мелких людей?
Не на них ли нам выместить злобу? —
Безопасней... Еще веселей
В чем-нибудь приискать утешенье...
Не беда, что потерпит мужик;
Так ведущее нас провиденье
Указало... да он же привык!
За заставой, в харчевне убогой
Всё пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут... Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,

В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..
Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля, —
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуюсь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил, —
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?.. (1858)

**МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ. РАССКАЗ «СТАЛЬНОЕ ГОРЛО»
(ИЗ СБОРНИКА «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА», 1925)**

Итак, я остался один. Вокруг меня — ноябрьская тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завывло. Все двадцать четыре года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось: она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинные, лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня.

Мечтал об уездном городе — он находился в сорока верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда.

Там было электричество, четыре врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае не так страшно. Но убежать не было никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете...

«...Ну, а если привезут женщину и у нее неправильные роды? или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры.» Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, налившись чаю: под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький Додерляйн. А справа десять различных томов по оперативной хирургии, с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай...

И вот я заснул: отлично помню эту ночь — 29 ноября, я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе: уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца: привезли ко мне в Никольский пункт-больницу в одиннадцать часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала:

— Слабая девочка, умирает... Пожалуйте, доктор, в больницу...

Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были: фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опытных акушерки — Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь двадцатичетырехлетним врачом, два месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей.

Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет трех. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз, забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей — волосы сами от природы выются в крупные кольца почти спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это страх, — ей нечем было дышать «она умрет через час», — подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось...

Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый раз диагноз поставил совершенно правильно, и главное, одновременно с акушерками — они-то были опытные: «У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо...»

— Сколько дней девочка больна? — спросил я среди настожившегося молчания моего персонала.

— Пятый день, пятый, — сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня.

— Дифтерийный круп, — сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал: — Ты о чем же думала? О чем думала?

И в это время раздался сзади меня плаксивый голос:

— Пятый, батюшка, пятый!

Я обернулся и увидел бесшумную, круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если б бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал:

— Ты, бабка, замолчи, мешаешь — Матери же повторил: — О чем ты думала? Пять дней? А?

Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мной на колени.

— Дай ей капель, — сказала она и стукнулась лбом в пол, — удавлюсь я, если она помрет.

— Встань сию же минуточку, — ответил я, — а то я с тобой и разговаривать не стану.

Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал:

— Так они все делают. На-род — Усы у него при этом скривились набок.

— Что ж, значит, помрет она? — глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать.

— Помрет, — негромко и твердо сказал я.

Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом:

— Дай ей, помоги! Капель дай!

Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд.

— Каких же я ей капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты пять дней морила девчонку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?

— Тебе лучше знать, батюшка, — заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел.

— Замолчи! — сказал ей. И, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выход уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете

лампы-молнии девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью.

— Вот что, — сказал я, удивляясь собственному спокойствию, — дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничто ей не поможет, кроме одного — операции.

И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль.

— Как это? — спросила мать.

— Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать, тогда, может быть, спасем ее, — объяснил я.

Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила:

— Что ты! Не давай резать! Что ты? Горло-то?!

— Уйди, бабка! — с ненавистью сказал я ей. — Камфару впрысните, — сказал я фельдшеру.

Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно.

— Может, это ей поможет? — спросила мать.

— Нисколько не поможет.

Тогда мать зарыдала.

— Перестань, — промолвил я. — Вынул часы и добавил: пять минут даю думать. Если не согласитесь, после пяти минут сам уже не возьмусь делать.

— Не согласна! — резко сказала мать.

— Нет нашего согласия! — добавила бабка.

— Ну, как хотите, — глухо добавил я и подумал: «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил: — Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?

— Нет! — снова крикнула мать.

Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное:

— Ну, скорей, скорей соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют.

— Нет! Нет!

— Ну, что же, уведите их в палату, пусть там сидят.

Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал:

— Соглашаются!

Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно: — Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонд!

Через минуту я перебежал двор, где, как бес, летала и шаркала метель, прибежал к себе и, считал минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто: горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Э, теперь уж поздно», — подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив вьюги, в больницу.

В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл:

— Батюшка, как же так, горло девчонке резать? Да разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась. А моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам.

— Бабку эту вон! — закричал я и в запальчивости добавил: — Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная! И вообще никто тебя не спрашивает! Вон ее!

Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты .

— Готово! — вдруг сказал фельдшер.

Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу, увидал блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку... В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услышал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет. Он в городе. Придет, узнает, что я наделала, — убьет меня!»

— Убьет, — повторила бабка, глядя на меня в ужасе.

— В операционную их не пускать! — приказал я.

Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка — девочка. Она, голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали иодом, и я взял нож, при этом подумал «Что я делаю?» Было очень тихо в

операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум, куда-то близ раны, зашелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти «Конец, — подумал я, — зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей...» Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать», — так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.

— Крючки! — сипло бросил я.

Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой — с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно: сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло — и обмер. Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума: он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело: фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло «все против меня, судьба, — Подумал я, — теперь уж, несомненно, зарезали мы девочку, — и мысленно строго добавил: — Только дойду домой — и застрелюсь...» Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы:

— Продолжайте, доктор...

Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился: больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло, потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать.

Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала:

— Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию.

Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно, исподлобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были как у дикого зверя.

Она спросила у меня:

— Что?

Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил:

— Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь.

И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыснуть камфару и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, лежал Додерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было; заснул и даже снов не видел.

Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что страшнее Лидкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то, в новом уже году, вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся — узнал.

— А, Лидка! Ну, что?

— Да хорошо все.

Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов.

— Все в порядке, — сказал я, — можете больше не приезжать.

— Благодарю вас, доктор, спасибо, — сказала мать, а Лидке велела: — Скажи дяденьке спасибо!

Но Лидка не желала мне ничего говорить. Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял сто десять человек. Мы начали в девять часов утра и кончили в восемь часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне:

— За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю.

— Так и живет со стальным? — осведомился я.

— Так и живет. Ну, а вы доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть!

— М-да... я, знаете ли, никогда не волнуюсь, — сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилало. Фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного — спать.

**МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ. РАССКАЗ «ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ»
(ИЗ СБОРНИКА «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА», 1925)**

Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего! Тьма...

Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь с воем скорый в Москву и даже не остановится — не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути.

Первые электрические фонари в сорока верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воем и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров.

Мы же одни.

— Тьма египетская, — заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору.

Выражается он торжественно, но очень метко. Именно египетская.

— Прошу еще по рюмочке, — пригласил я. (Ах, не осуждайте! Ведь врач, фельдшер, две акушерки, ведь мы тоже люди! Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по две рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?)

— За ваше здоровье, доктор! — почувственно сказал Демьян Лукич.

— Желаем вам привыкнуть у нас! — сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами.

Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди теплело от водки.

— Я решительно не постигаю, — заговорил я возбужденно и глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой, — что эта баба сделала с белладонной. Ведь это же кошмар!

Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерок.

Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет тридцати. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво:

— Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли!.. Пожалуйте еще баночку.

Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича. «Тинцт. Белладонн...» и т. д. «16 декабря 1917 года».

Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию белладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить.

— Ты... ты... все приняла вчера? — спросил я диким голосом.

— Все, батюшка милый, все, — пела бабочка сдобным голосом, — дай вам бог здоровья за эти капли... полбаночки как приехала, а полбаночки — как спать ложиться. Как рукой сняло...

Я прислонился к акушерскому креслу.

— Я тебе по сколько капель говорил? — задушенным голосом заговорил я. — Я тебе по пять капель... Что же ты голосом заговорил я — я тебе по пять капель... что же ты делаешь, бабочка? ты ж... я ж...

— Ей-богу, приняла! — говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей белладонной.

Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки. Довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления белладонной у бабы не замечалось.

— Этого не может быть!.. — заговорил я и завопил: Демьян Лукич!

Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора.

— Полубуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала! Я ничего не понимаю...

Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась .

Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил:

— Ты, милая, врешь. Ты лекарство не принимала!

— Ей-бо... — начала баба.

— Бабочка, ты нам очков не втирай, — сурово, искривив рот, говорил Демьян Лукич, — мы все досконально понимаем. Сознавайся, кого лечила этими каплями?

Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась.

— Вот чтоб мне...

— Брось, брось... — бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне: — Они, доктор, ведь как делают. Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарство, а она придет в деревню и всех баб угостит...

— Что вы, гражданин фершал...

— Брось! — отрезал фельдшер — я у вас восьмой год. Знаю. Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам, продолжал он мне.

— Еще этих капелек дайте, — умильно попросила баба.

— Ну, нет, бабочка, — ответил я и вытер пот со лба, этими каплями больше тебе лечиться не придется. Живот полегчал?

— Прямо-таки, ну, рукой сняло!..

— Ну, вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие.

И я выписал бабочке валерьянки, и она, разочарованная, уехала .

Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма.

— Это что, — говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле, — это что. Мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придется привыкать. Глушь!

— Ах, какая глушь! — как эхо, отозвалась Анна Николаевна.

Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши!

— Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать? — заговорил фельдшер и, деликатно угостив папироской Анну Николаевну, закурил сам.

— Замечательный доктор был! — восторженно молвила Пелагея Ивановна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах.

— Да, личность выдающаяся, — подтвердил фельдшер. Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Липонтию — пожалуйста! Они его вместо Леопольд Леопольдович Липонтий Липонтьевичем звали. Верили ему. Ну, и разговаривать с ними умел. Нуте-с, приезжает к нему как-то приятель его, Федор Косой из Дульцева, на прием. Так и так, говорит, Липонтий Липонтьич, заложило мне грудь, ну, не продохнуть. И, кроме того, как будто в глотке царапает...

— Ларингит, — машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам.

— Совершенно верно. «Ну, — говорит Липонтий, — я тебе дам средство. Будешь ты здоров через два дня. Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на спину между крыл, другой — на грудь. Подержишь десять минут, сымешь. Марш! Действуй!» Забрал тот горчишники и уехал. Через два дня появляется на приеме.

«В чем дело?» — спрашивает Липонтий.

А Косой ему:

«Да что ж, говорит, Липонтий Липонтьич, не помогают ваши горчишники ничего».

«Врешь! — отвечает Липонтий. — Не могут французские горчишники не помочь! Ты их, наверное, не ставил?»

«Как же, говорит, не ставил? И сейчас стоит...» и при этом поворачивается спиной, а у него горчишник на тулупе наклеплен!..

Я расхохотался, а Пелагея Ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену.

— Воля ваша, это — анекдот, — сказал я, — не может быть!

— Анек-дот?! Анекдот? — впереводку воскликнули акушерки.

— Нет-с! — ожесточенно воскликнул фельдшер. — У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит... У нас тут такие вещи...

— А сахар?! — воскликнула Анна Николаевна — Расскажите про сахар, Пелагея Ивановна!

Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись:

— Приезжаю я в то же Дульцево к роженице...

— Это Дульцево — знаменитое место, — не удержался фельдшер и добавил: — Виноват! продолжайте, коллега!

— Ну, понятное дело, исследую, — продолжала коллега Пелагея Ивановна, — чувствую под щипцами в родовом канале что-то непонятное... то рассыпчатое, то кусочки... Оказывается — сахар-рафинад!

— Вот и анекдот! — торжественно заметил Демьян Лукич.

— Поз-вольте... ничего не понимаю...

— Бабка! — отозвалась Пелагея Ивановна — Знахарка научила. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали!

— Ужас! — сказал я.

— Волосы дают жевать роженицам, — сказала Анна Николаевна.

— Зачем?!

— Шут их знает. Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут...

Глаза у акушеров засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем, и я слушал как зачарованный. О том, что, когда приходится вести роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Иванна свои сани всегда сзади пускает: не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти, и хорошо, что хоть мать спас. О том...

Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо и землю.

Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки-печки, и слышно было, как грызла где-то деловито мышь.

«Ну, нет, — раздумывал я — я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши. Сахар-рафинад... Скажите пожалуйста!..»

В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника, а в клинике — громадный зал, изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни, ассистент с остроконечной, очень мудрой, седеющей бородкой...

Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул.. .

— Кто там, Аксинья? — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы (квартира у врача была в двух этажах: вверху кабинет и спальни, внизу — столовая, еще одна комната — неизвестного назначения и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья — кухарка — и муж ее, бессменный сторож больницы).

Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, повеяло холодом. Потом Аксинья доложила:

— Да больной приехал...

Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось, а от мышинной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное — не роды.

— Ходит он?

— Ходит, — зевая, ответила Аксинья.

— Ну, пусть идет в кабинет.

Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы двадцатичетырехлетняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере.

В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, валенках. Шапка находилась в руках у фигуры.

— Чего же это вы, батюшка, так поздно? — солидно спросил я для очистки совести.

— Извините, гражданин доктор, — приятным, мягким голосом отозвалась фигура, — метель — чистое горе! Ну, задержались, что поделаешь, уж простите, пожалуйста!..

«Вежливый человек», — с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстриг, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, побывшему в деревне хотя бы короткий срок, нетрудно угадать постное масло.

— В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?

Шуба легла горой на стул.

— Лихорадка замучила, — ответил больной и скорбно глянул.

— Лихорадка? Ага! Вы из Дульцева?

— Так точно. Мельник.

— Ну, как же она вас мучает? Расскажите!

— Каждый день, как двенадцать часов, голова начинает болеть, потом жар как пойдет... Часа два потреплет и и отпустит...

«Готов диагноз!» — победно звякнуло у меня в голове.

— А в остальные часы ничего?

— Ноги слабые...

— Ага... Расстегнитесь! Гм... так.

К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпателя, после этой утренней штуки с белладонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз.

Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, к медицине.

— Вот что, голубчик, — говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди, — у вас малярия. Перемежающаяся лихорадка... У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую лечиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками, а если не поможет, мы вам впрыскивания сделаем. Добьемся успеха. А? Ложитесь?..

— Покорнейше вас благодарю! — очень вежливо ответил мельник. — Наслышаны об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете... и на впрыскивания согласен, лишь бы поправиться.

«Нет, это поистине светлый луч во тьме!» — подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу.

На одном бланке я написал:

«Chinini tur. — 0,5 Д. Т. дос. Н 10 °С. Мельнику Худову По одному порошку в полночь».

И поставил лихую подпись.

А на другом бланке:

«Пелагея Ивановна!

Примите во 2-ю палату мельника. У него malaria. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка, значит, в полночь.

Вот вам исключение! Интеллигентный мельник!»

Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксины ответную записку:

«Дорогой доктор!

Все исполнила. Пел. Лобова.»

И заснул.

...И проснулся.

— Что ты? Что? Что, Аксины?! — забормотал я.

Аксины стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещает ее заспанное и встревоженное лицо.

— Марья сейчас прибежала, Пелагея Ивановна велела, чтоб вас сейчас же позвать.

— Что такое? — Мельник, говорит, во второй палате помирает.

— Что-о?! Помирает? Как это так помирает?!

Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал и горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно шесть.

«Что такое?.. Что такое? да неужели же не малярия?! Что же с ним такое? пульс прекрасный...»

Не позже чем через пять минут я, в надетых наизнанку носках, в незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках, проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во вторую палату.

На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней, в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керосовая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный. С ужасом осматривался, тяжело дышал...

Сиделка Марья, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо.

Пелагея Ивановна, в криво надетом халате, простоволосая, метнулась навстречу мне.

— Доктор! — воскликнула она хрипловатым голосом. Клянусь вам, я не виновата. Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули — интеллигентный...

— В чем дело?!

Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила:

— Вообразите, доктор! Он все десять порошков хинину съел сразу! В полночь.

* * *

Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонд. Пахло камфарным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торча дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно.

— Ну, как? — спросил я.

— Тьма египетская в глазах... О... ох... — слабым басом отозвался мельник.

— У меня тоже! — раздраженно ответил я.

— Ась? — отозвался мельник (слышал он еще плохо) .

— Объясни мне только одно, дядя: зачем ты это сделал?! — в ухо погромче крикнул я.

И мрачный и неприязненный бас отозвался:

— Да, думаю, что валандаться с вами по одному порошочку? Сразу принял — и делу конец.

— Это чудовищно! — воскликнул я.

— Анекдот-с! — как бы в язвительном забытии отозвался фельдшер...

* * *

«Ну, нет... я буду бороться. Я буду... Я...» И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская... и в ней будто бы я... не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду... борюсь... В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна. Все в белых халатах, и все вперед, вперед...

Сон — хорошая штука!..